

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 42

1986



Леонид ФРОЛОВ

РУСИЛОВСКОЕ
МОЛОКО

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 42

Леонид ФРОЛОВ

РУСИЛОВСКОЕ МОЛОКО

Рассказы

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Леонид ФРОЛОВ

Леонид Анатольевич Фролов родился в 1937 году в деревне Большая Медведица Костромской области. Окончил историко-филологический факультет Вологодского пединститута. Работал секретарем райкома комсомола в г. Никольске Вологодской области, служил в Советской Армии, редактировал газету «Вологодский комсомолец». В 1966 году в Северо-Западном издательстве выпустил первую книгу — документальную повесть «Дорога». Первые рассказы напечатал в журнале «Север» в 1965 году. Выступал с рассказами в журналах «Наш современник», «Москва», «Дружба народов», «Смена». Автор сборников рассказов и повестей «Поле-жаевские ягоды» (1972), «Во бору брусника» (1977), «Сватовство» (1980), «К сыну» (1983), «Летающие тарелочки» (1985), «Верность» (1986) и других.

Лауреат премии имени Николая Островского (1980) и премии ВЦСПС и Союза писателей СССР за лучшее произведение о рабочем классе и колхозном крестьянстве (1986).

Секретарь Союза писателей РСФСР.
Живет в Москве.

РУСИЛОВСКОЕ МОЛОКО

1

Зябь допахали к полудню, и Григорий Некипелов приехал с поля на тракторе. «Баню хоть затоплю»,— думал он, прикидывая, чем убьет время до вечера.

Дом был на замке. В дверях торчало из щели письмо, и это Григория почему-то насторожило: с тех пор, как он вернулся из армии, почтальон носил в их дом преимущественно газеты. А вернулся Григорий давно: двадцать с лишним лет уже отшумело с тех пор безвозвратным ветром. Письма вроде бы получать было не от кого.

Григорий замазученными пальцами вытащил из щели письмо.

Ему... «Некипелову Григорию Петровичу»,— написано на конверте. А обратный-то адрес — чудеса, да и только! — почтовое отделение Кавалеровка. Григорий этот адрес не спутал бы ни с каким иным. Да и как его спутаешь, если можно дать голову на отсечение, что во всем Советском Союзе всего один поселок с таким названием. Его ни на географических картах не отыскать, ни в адресных справочниках: слишком мал. В поселке населения-то дай бог сто человек, если не считать воинский городок, который к Кавалеровке не имеет никакого отношения, который сам по себе и даже отгородился от поселка забором. Но почтовое отделение у них одно — и у поселка, и у воинской части,— и имя ему Кавалеровка.

Григорий взглянул на конверт — нет, воинский треугольник на нем не отштмпелеван, и в обратном адресе в/ч не указано. Уж не от Зинки ли? Была у него присуха из поселка: надо же было к кому-то в увольнение ходить, годы молодые, время терять не резон. А выбор в Кавалеровке невелик, ухватил какую-нибудь — и ладно. Зинка в общем-то была не хуже других. Но уж больно привязчива — сразу видно, что намерения у нее на кавалера серьезные: если с ней далеко в отношениях зайдешь, обратной дороги не будет, через командование тебя поставит на место. А так не худая девка. Все его уговаривала остаться на сверхсрочную службу. Может, Григорий и остался бы —

в армии не хуже, чем в родном колхозе, — но боялся, что к Зинке будет не притерпеться. Когда их, солдат сорокового года рождения, выстроили на плацу и объявили о демобилизации, он будто ношу сбросил с себя. Не армейскую ношу — она не тяготила его, — а личную, что гнула душу. У Григория не хватило решимости сообщить Зинке о демобилизации: наверное, не сомневался, что увяжется за ним в Полежаево. Так, не попрощавшись, и уехал домой. Наказал только ребятам из отделения, чтобы передали ей, что напишет, а сам подумал: «Зинка не пропадет, скоро новых женихов навезут. Место, как говорится, «рыбное», кавалерами пруд пруди. В Кавалеровке все-таки живет!»

И что за провидец дал поселку такое название? Не докладывало же ему правительство, что в воздвигаемой им деревне со временем разместит войсковую часть. А вот догадался мудрец, окрестил поселок со смыслом. Солдаты тоже горазды на выдумку: центральную улицу, на которой жила и Зинка, промеж себя обзывали Дунькиной. И клуб, расположенный на ней, был для них Дунькиным клубом. Сравнили, так сказать, мужское и женское, чтоб ни женихов, ни невест не ела обида. Но Кавалеровка и в самом деле была Кавалеровка, а Дунькина улица — официально Таежная.

На конверте улица не была проставлена — просто указано почтовое отделение и вместо подписи чьи-то закорючки. Неужто в самом деле Зинка в розыск ударилась через двадцать с лишним годов? А что? Она может. У бабы ведь сердце-то устроено наперекос-сяк: двадцать два года помалкивало, а на двадцать третьем и разговорилось. А вдруг она замуж вышла за офицера, и офицеру этому генерала присвоили... Как не похвастаться перед бывшим дружкой — генеральша-а... За тобой-то бы и по сей день неизвестно кто и была. Макаронница. А за ним — генеральша-а... Вот так-то, Григорий Петрович...

Григорий невесело усмехнулся и, боясь вместе с конвертом надорвать непривычными до бумаги руками и вложенный в него листок, подлез темным ногтем, как лезвием бритвы, под отступивший от фабричной полосы клей угол кармашка и распечатал письмо.

Оно было коротким, всего на одной сторонке листа.

«Уважаемый товарищ Некипелов!

Извините за беспокойство. Пишет вам незнакомый старшина запаса Плотников Василий Васильевич...»

Григорий оторвал взгляд от неровных строчек: «Постой-постой... Как это незнакомый?» Знает он старшину Плотникова. Усатый такой Усы, как у Буденного. Почему незнакомый-то? Очень даже знакомый. Григорий же с ним в одной части служил. В Кавалеровке. Под его началом практически не был, хоть выше рядового по службе и не поднимался, а Плотников как-никак старшина, но старшина, правда, нестроевой, заведовал в дивизионе каптеркой. По-иностранному —

каптенармус, по-колхозному — кладовщик. По его части обмундирование, сапоги, материал на подворотнички, смена белья перед баней — невелик воинский начальник. Но старшина Плотников — особая статья. На него сам командир части смотрел с уважением и всегда здоровался за руку. Фронтвик. Парадный мундир наденет — так на груди свободного места от орденов и медалей не было, в четыре ряда горят и сверкают. А уж если строевым шагом врубит к начальнику — плац дрожит, подметки — удивляешься, как на сапогах держатся! Вот тебе и нестроевой старшина, сверхсрочник, заведующий каптеркой. Он любого строевика за пояс заткнет по строевой-то части.

Но почему же старшина пишет, что незнакомый?

Он Григория хорошо знал, не раз приглашал для разговоров в каптерку. Двадцать с лишним годов прошло, а Григорий разговоры эти не забыл. Первые месяцы после демобилизации даже не по себе было от них, будто задолжал в чем-то старшине, а рассчитаться не знает как. Потом уж время иссушило в памяти чувство так до конца и не осознанного долга. А может, и не долга вовсе, и не вины, а необъяснимого состояния чего-то упущенного, невосполнимого. Времени докопаться до сердцевины своих сомнений у Григория, как всегда, не оставалось — чуть не круглые сутки в работе, выспаться даже досыта не мог, — а подсказать со стороны, чего он упустил, было некому. Да ведь и старшина не сказал в свое время, чего да как. Походил вокруг да около, как рыбу подцепил на крючок, а вытаскивать на берег не стал, дождался, когда она снимется и уйдет в глубину.

2

Гришка в юности дальше Полежаева нигде не бывал: школу окончил в родной деревне, на тракториста выучился, считай, самоуком, на права сдал в районе, и не армия бы, так и не высмотрел белый свет.

Непривычная армейская жизнь поначалу казалась Гришке суматошной. Чуть чего — команда: «Строиться!» Окурок кто-нибудь не туда бросил — построят всю батарею, объяснят, где поставлены урны, а провинившемуся объявят наряд вне очереди — полы натирать в казарме, лестницу мыть, воду в бачок таскать. Гришка быстро сообразил, что если вперед не высовываться и от основной массы не отставать, то можно прожить вообще без работы — внеочередников на первых порах было хоть отбавляй. Гришка, чтобы случаем не попасть впросак, постоянно держал ухо востро. Услышав зычный голос сержанта: «Строиться!» — он уже в строю. Пуговицы на его гимнастерке застегнуты все до единой, подворотничок подшит свежий, сапоги начищены, руки в карманы он не сует — не за что наказывать, проверяйте хоть через каждые пять минут. Стоит и — что в армии поощряется — «ест глазами начальство». Сержантам это и было

любо: образцовый солдат. Гришка задним умом понимал, что, наверное, по-иному этакому ораву не привыкшего к армейской выправке народу и не привести в чувство. Надо было за малейшую оплошность строжить и ставить человека на место.

Сержанты были молоденькие, им нравилось покрикивать на новобранцев и изображать из себя бывалых командиров. Гришка еще не привык к их голосам и иногда путал, первую батарею строят или их, вторую. Солдаты же для него все были на одно лицо — бритые, лопоухие, с вытаращенными глазами. Иногда Гришка вставал в чужой строй, но чутье все-таки подсказывало ему, что он затесался не в свои ряды, и Гришка, пока строй окончательно не выровняет начисленные сапоги, пока каждый из солдат не прикинёт, видна ли «грудь четвертого человека», потихоньку выскальзывал из шеренги и смущенно примыкал к какой-либо кучке новобранцев, озирававшихся по сторонам.

Старшина Плотников заметил его заячьи скидки и, усмехаясь в буденновские усы, добродушно спросил:

— Что, парень, маешься?

Гришка пожал плечами, но, уже сознавая, что неопределенных ответов в армии не должно быть, бодро отрапортовал:

— Привыкаю, товарищ старшина!

Старшина, приняв его тон, строго спросил:

— Как фамилия?

Гришка вытянулся и отчеканил:

— Рядовой Некипелов, товарищ старшина!

Старшина Плотников неожиданно нахмурился, хотя уставную форму в обращении с начальником Гришка не нарушил ни по единой позиции — придаться вроде бы не к чему.

— Ну, а отчество твое как? — спросил старшина.

Вопрос был уже за пределами воинского устава — какое у солдата отчество? У солдата фамилия и звание! Но раз начальник спрашивает, подчиненному следует отвечать:

— Григорий Петрович, товарищ старшина!

Старшина еще сильнее нахмурился, ушел в себя и, уже не обращая на Гришку никакого внимания, повернулся к выходу из казармы. Гришка облегченно расслабился — пронесло, слава богу, — и юркнул снова в кучку солдат, чтобы никому не мозолить глаза.

Вечером батарею строем повели на ужин. Молоденький младший сержант — кто-то Гришке сказал, что вохомский, почти земляк, — краснел от натуги и подавал команды:

— Лево! Лево! Ноги не слышу!

Ногу услышать было действительно невозможно, потому что батарея вытянулась змеей метров на двадцать и младшему сержанту не хватало зычности в голосе, чтобы его команду схватывали все. Каждый шагал так, как вздумается.

— Левой! Левой! — надсаживался младший сержант и то и дело задерживался, поджидал хвост колонны. Голова ее вырвалась вперед.

— Подтянись! Левой! — уже едва слышал Гришка, находившийся в первых рядах, ослабевший голос сержанта.

Батарея шаркала ногами, как стадо баранов. Хорошо, что шли по асфальту, а то взбили бы на дороге такую пыль, в которой было б не продохнуть.

Навстречу, вдогон, справа, слева маршировали свои колонны солдат. Иные шли с песнями. Иные отбивали такой чеканистый шаг, что если закроешь глаза, то невольно покажется, будто по военному городку идет великан и земля гудит и дрожит под ним, отзываясь на его мощный шаг и заглушая все другие звуки на свете.

— Батар-р-рея! — взвился в темнеющее небо чей-то неуступчивый голос, и проходившая мимо колонна так старательно ударила сапогами об асфальт, что того, первого, великана стало совсем не слышно, но вместо него возник другой, шаг которого оказался еще тяжелее и четче, чем у прежнего.

— Шире шаг!

— Правое плечо вперед!

— Левой! Левой! Ноги не слышу!

Команды смешались. Голова колонны, запутавшись в них — где своя, где чужая, — оторвалась от хвоста и притопала к столовой без командира.

На крыльце, как коршун, поджидал их старшина Плотников:

— Почему шум? Где командир?

Он вряд ли узнал, что подошла колонна его дивизиона. Городок большой, всех в лицо не упомнишь. А тем более новеньких. И Гришка решил пойти старшине на выручку:

— Товарищ старшина, да мы же свои, из второй батареи...

Старшина, будто не слыша его, не повел усом.

— Группа, р-равняйся! — скомандовал он. — Отставить!.. — Голос у него был как иерихонская труба, которой Гришка не слышал в жизни, но о которой имел по рассказам стариков вполне устойчивое представление. — Группа, р-равняйся! Отставить!

Старшина был не похож на себя. Усы у него не топорщились кверху, а, как еловые лапы к непогоде, обвисли вниз.

— Группа, кр-р-ругом! Шагом... арш!

Это от столовой-то...

Нет, определенно старшина не узнал своих.

— Товарищ старшина, — сбиваясь с шага, зывал Гришка. — Да мы же из второй батареи...

— Рядовой Некипелов! — осадил его старшина. — За разговоры в строю объявляю один наряд вне очереди!

Ну вот, высунулся, называется, на свою голову. Не зря же пословица существует такая: глубоко — не бреди, печет — не подхо-

ди. Изменил Гришка этому правилу — и получил ни за что, ни про что оплеуху.

— Реакции не слышу, рядовой Некипелов! — напомнил о себе старшина Плотников.— Что должен отвечать в такой ситуации военнослужащий?

— Есть один наряд вне очереди,— упавшим голосом отозвался Гришка.

— То-то же...

Старшина выскочил вперед строя, напыжился, взял ногу и вдруг запел:

Для те-е-бя, мо-я, родна-а-я,
Эта пе-е-сенка-а проста-а-ая...

Песня никак не вязалась с обликом запевалы, приземистого, немолодого, с растопыренными гвардейскими усами, но голос был настолько искренним и зазывным, что строй дружно подхватил слова:

Я влюблен,
И ты, быть мо-о-жет,
Потеряла се-е-ердце то-о-же.

Старшина крепче вбивал ногу в асфальт.

— Батар-р-ея!

По мостовой уже шел один человек, не такой тяжелый, как встречные колонны, но один. Его уже было хорошо слышно.

Старшина, легко ориентируясь во встречных солдатских потоках, вывел группу к отставшему хвосту колонны, с которым младший сержант в назидание за расхлябанность проводил строевое занятие, поворачивая строй то направо, то налево, заставляя его маршировать на месте и замирать, когда раздавалась команда «Стой!»

— Младший сержант Абалкин! — крикнул ему старшина.

— Я! — младший сержант подбежал к старшине, щелкнул как напоказ каблуками и отдал честь.

— Рядовому Некипелову объявлен один наряд вне очереди. Приведите к исполнению до вечерней поверки.

— Есть! — младший сержант пошарил глазами по строю, словно фамилии были отпечатаны у солдат на лбах и он мог прочитать, где этот непутевый Некипелов стоит.

— Рядовой Некипелов! После ужина подойдете ко мне!

— Есть,— вяло отозвался Гришка.

— Не слышу голоса,— придрался младший сержант.

Ну вот так: то ноги не слышит, то голоса.

— Есть после ужина подойти к младшему сержанту Абалкину! — во все легкие гаркнул Гришка.

Старшина усмехнулся, подкрутил усы кверху, и Гришка подумал, что они у него не обвисают вниз, как еловые лапы в непогоду, и не топорчатся ячменным колосом к небу, когда светит солнце, а принимают тот самый закрут, какой заблагорассудится их придурковатому хозяину сделать. Он и солдат-то пытается крутить, как усы.

Гришка уже знал, что старшина Плотников не строевик, а своего рода завхоз. Но вот ведь старый козел: хлебом не корми, а дай покомандовать. Гришка не любил служак: они отца родного не пощадят, и ему всучат наряд вне очереди. Прын-цы-пиальные...

После ужина Гришке досталось вымыть в курилке. Работа не такая уж хлопотная и грязная — не туалет все-таки драить. Гришка управился с нею легко и быстро, и хорошее настроение вернулось к нему. Но вывод из внеочередного наряда Гришка сделал: тут не на колхозном собрании, — и не согласен с чем-то, а дисциплину блюди.

Вечернюю поверку ни с того ни с сего вышел у них проводить старшина Плотников. Видимо, мало ужина, не накомандовался, не отвел душеньку. Он держал перед усами фанерку с наклеенным на нее списком солдат и выкрикивал фамилии:

— Рядовой Вайда!

— Я.

— Рядовой Залилов!

— Я.

Старшина пристально вглядывался в лица, пытаясь, по всему похоже, запомнить их вместе с фамилиями, а не сами по себе, как безымянную массу.

— Рядовой Мухров!

— Я.

— Рядовой Некипелов!

— Я.

Гришка даже вспотел, когда старшина придирчиво уставился на него. Вот сейчас выставит перед строем и начнет распекать. А уж такая ли тяжкая у Гришки вина перед армией: в строю слово сказал... Да и в строю ли, не было строя-то, шло к столовой стадо баранов. За это младшего сержанта следовало наказывать, а не Гришку. Уж если взялся командовать, так командуй как следует. А то голос-то, как у цыпленка, и не слышать. Стоило ли такому лычки пришивать на погоны: сразу же видно, бесперспективный, хоть и Гришкин, считай, земляк: от Вохмы до Полежаева и шестидесяти верст нет.

Старшина подмигнул Гришке. Гришка потупился. Ну, теперь запомнил, проходу не даст.

— Рядовой Нестеренко!

— Я.

— Рядовой Новиков!

— Я.

Гришка уже не вслушивался в фамилии: его очередь миновала, можно на какое-то время расслабиться, а там отбой, самая золотая пора — солдат, говорят, спит, а служба идет. Хорошо!

Старшина завершил поверку и, перед тем как объявить отбой, обратился к Гришке:

— Некипелов, зайди в каптерку.

Вот уж верно сказано: начальству на глаза лучше не попадаться. Один раз попался, а чем это обернется в твоей солдатской судьбе, никому не известно. Решил, видимо, старшина повоспитывать его один на один. Ну, службист... Попадают же такие редкие экземпляры — и начальник-то плевенький, всего-навсего старшина, не генерал, а за то, за что генерал спустит, простит, старшина каждый день корит станет.

В каптерке было прибрано и чисто. Вдоль стен тянулись зашторенные стеллажи, и там, где шторы не были сдвинуты плотно, было видно, что за ними висят парадные солдатские мундиры. Гришка уже заметил, что старослужащие, получив увольнительную, заходят в каптерку в гимнастерке, а выходят из нее в мундире с надраенными пуговицами.

Старшина сидел за столом.

— За наряд не сердись,— сказал он.— Это для профилактики, чтобы после колхоза служба медом не показалась.

— Да нет, мне колхозная работа глянулась,— возразил Гришка.

— И служба поглянется.

Гришка не по-уставному пожал плечами и тут же осудил себя за сугубо гражданский жест.

— Не знаю.

— После колхоза всем нравится,— наставительно сказал старшина.

Гришка не понял, к чему он клонит. Слава богу, хоть не ладится распекать. И чтобы не подвергать судьбу новому испытанию, возразив старшине больше не стал, решив по возможности отжалчиваться. Слово, говорят, серебро, а молчание — золото.

Старшина пододвинул Гришке стул и, не давая прийти в себя, спросил:

— У тебя отец жив?

— Нет, погиб на войне.

Старшина, поерзав на стуле, нашел более удобную позу, положил руки на стол. Глаза у него оживились.

— Танкист? — отрывисто спросил он.

Гришка пожал плечами. Старшина, видимо, решил, что Гришка не понял вопроса.

— Танкист, говорю, батька-то? — недовольно переспросил он.

— Не знаю,— Гришка опять пожал плечами.

— Да ты чего, как курица, голову втягиваешь и долу жмешься?

Ну вот, неизвестно, как себя и вести: голову в плечи втягивать — нехорошо, кверху вздымать — и того, поди, хуже. Живо-два схлопочешь наряд вне очереди.

— Не из тридцать третьего танкового полка отец-то?

Да откуда Гришка знает, из какого полка. Гришке исполнилось всего полтора года, когда отца отправили на фронт. В памяти сохранилось лишь, как в районном центре, перепруженном подводами и толпами народа, на столбе тревожно вещал репродуктор, как мужиков сажали в машины, как за ними, удаляющимися, клубилась пыль, как, перебивая голос репродуктора, выли бабы. Гришка даже не мог бы с точностью уверять, что это именно впечатления тех минут, а не картины, сложившиеся в его воображении по кинофильмам, которые он любил смотреть в школьные годы, по книгам, которые изредка попадали в его руки в их бескнижном краю, по воспоминаниям матери, которые повторялись настолько часто, что Гришка иногда выслушивал их с холодной душой, будто они касались кого-то другого, а не его с матерью, будто они ею были выдуманы и не пропущены через сердце, будто она ими и не переболела, а рассказывала потому, что у нее не было на языке других слов, чтобы заполнить пустоту одиноких зимних вечеров. Мать укоряла Гришку, уже взрослого, что он, полуторагодовалый, изорвал письмо от отца. Письмо было брошено отцом в почтовый ящик на забитой теплушками станции и шло долго, чуть ли не месяц. Это было единственное письмо от отца. Гришка, неразумный, не дал ему сохраниться. Мать в тот день была на работе, как раз приступали к жатве и домой возвращались за полночь, когда росой набрякнут колосья и ножи у конной косилки начнут заедать намокшей рожью. Мать, увидев изорванное письмо, разревелась, будто чувствовала уже, что оно последнее.

— Гришка-а, что ты наделал-то?

Гришка и сейчас слышал этот крик матери. А может, и не слышал. Может, он тоже возник в ушах уже по более поздним рассказам. Ведь сколько она за свою жизнь заходила в реву и плаче, свидетелем которых он, уже взрослеющий, был, что ему не составляло труда представить и сохранить в памяти этот подставной, представленный им плач, выдавая его за тот, с которым она собирала обрывки отцовского письма и пыталась составить из них одно целое. Она рассказывала, что, сломленная злом и отчаянием от собственного бессилия, отшлепала несмышлениша сына по голой заднице до красноты. Он будто бы тоже ревел, задыхаясь обидой. Но так это было на самом деле или не так, Гришка совсем не запомнил. А уж в каком танковом полку служил отец, ему знать и подавно не дано.

Старшина откинулся на спинку стула и посмотрел на Гришку повлажневшими глазами:

— Был такой тридцать третий гвардейский Мгинский танковый полк,— сказал он и вдруг решительно рубанул рукой воздух.— Я тебя для того и пригласил, чтобы сообщить, что в нашем полку один Некипелов служил, наводчиком орудия был, как и я.

Гришка, не осознавая, почему это с ним происходит, но чувствуя, что он деревенеет, весь напрягся и подался вперед к столу. Он, конечно, сознавал, что на белом свете ходят тысячи, если не миллионы Некипеловых, но и старшина Плотников встречал, наверное, на своем веку из Некипеловых не одного командира орудия, а вот встревожить решился и свою память, и Гришкино сердце только этим — из тридцать третьего танкового полка.

— Может, парень, я ошибаюсь, ты извини меня,— вздохнул старшина,— но я на тебя не первый час гляжу, уж очень вы с тем Некипеловым схожи.

Гришка сглотнул накопившуюся во рту слюну.

— Его как звали-то, твоего отца? — спросил старшина.

— Петр Васильевич...

Старшина покачал головой:

— Вот ведь все эти годы пытаюсь вспомнить имя и воинское звание Некипелова, а не могу... Заклинило память... Знаю, что наводчик орудия он... Некипелов... Вроде бы вижу его... Такой же верзила, как ты... А как зовут, не помню... Врать не хочу, Петр или не Петр, не знаю...

Старшина сидел весь обмякший, облокотившись руками о стол, закрыв лицо ладонями. Гришка разглядел сквозь оттопыренные костистые пальцы дряблую старческую кожу щек.

— Не хочу врать, ты меня извини,— поднялся старшина и отвернулся от Гришки, будто бы поправляя усы, но на самом деле тер левой, не видимой Гришке рукой под глазами.— Я вот имя его не вспомню, а он мне жизнь спас...

Старшина взял себя в руки и, пройдясь по каптерке, остановился напротив Гришки:

— Ну, ладно, я старый хрыч, израненный, память в боях отшибло, чего-то мог и забыть,— сказал он бранчливо,— а ты-то почему о своем отце ничего не знаешь?

Гришка хотел ему объяснить, старшина зло от него отмахнулся:

— Ладно, иди спать! Разговорились тут...

3

Старшина Плотников с нетерпением ждал каждого нового пополнения в дивизионе и, когда новобранцы заполняли казарму, с надеждой вглядывался в незнакомые лица. Ну, кто тут из них Некипелов? Фамилия, слава богу, не такая уж распространенная, как

Ивановы, к примеру, или Петровы, но когда не знаешь, кого среди них ищешь, сердечной боли от того, что Некипеловых мало, не убавляется. Он зазывал Некипеловых в свою каптерку, учинял им допрос и, маясь душой, приходил к отступному выводу: не тот. Хотя все они, кроме того, что чем-то были похожи один на другого, напоминали старшине Некипелова, спасшего ему жизнь. Умные люди, разбирающиеся в происхождении фамилий, уверяют несведущих, что они все где-то там, в глубине веков, зачались от единого общего корня: Ивановы пошли от Ивана, Петровы, стало быть, от Петра, а Некипеловы — неизвестно и от кого: от какого-то безымянного человека, которого, однако, красило не столько имя, сколько характер, потому что, судя по доставшейся ему фамилии, он был человеком спокойным и уравновешенным, некипятливым.

Стриженные «под ноль», молодые Некипеловы, появляющиеся в казарме, были тоже недлинноязыкими, молчаливыми и своим поведением подтверждали то правило, в которое старшина Плотников безоголосно поверил. Некипеловы еще ни разу не разочаровали его, но похожи ли они, бритоголовые, на того, который воевал рядом с Плотниковым, кто из них его сын — а сын у Некипелова был, он вспоминал о сыне, — старшина и хотел узнать. Он не помнил лица того Некипелова, оно стерлось в памяти. И когда Плотников обращался мыслями к нему, своему спасителю, он видел высоченного танкиста, с манекенным — без глаз, безо рта и носа — лицом, танкиста юркого, несмотря на свой рост, ловкого, но все-таки без лица. Старшина, смежая веки, мог представить в мельчайших деталях не только свой танк, «тридцатьчетверку», но любую машину — и тяжелый, непробиваемый «ИС», и прародителя «тридцатьчетверки» — тридцать вторую модель, и даже немецкие «тигры» и «пантеры», которые он разглядывал изнутри только искореженными, подбитыми и никогда не сидел в них в бою. Да что там разные марки, старшина Плотников мог «в лицо» опознать танк своего старшего лейтенанта Столбова. А вот лица Некипелова, человеческого лица, старшина Плотников, как ни силился, представить не мог. За лицо он себя еще прощал: жену, бывает, не всякий раз удержишь фотографией в зыбком, плывущем воображении. А уж девок, с которыми миловался в далекой юности, да и не в юности даже, а уже женатым, исподтишка, как бы они приглядисты ни были, как бы ни ублажали мужское тщеславие — такие красавицы, а к нему, страхолудине, прислонялись душой погреться, — как ни старался, не мог приколоть кнопками к экрану своей никудышной памяти. И все-таки на фотографии старшина, пожалуй, сразу бы узнал Некипелова. Коря себя, Плотников понимал: самый-то главный грех не «лицо». Старшина не помнил имени этого человека. Иногда Плотникову даже казалось, что он, наверное, и не знал имени Некипелова. Может быть и такое. Но ему-то мнилось, что знал, а вот выпало в какой-то неподконтрольный, ротозейный момент

из памяти, укатилось, будто золотое колечко, в опаленную зноем, желтую, как золото же, траву. Найдешь или не найдешь? Кто даст гарантию, что найдешь?

Тридцать третий танковый полк, уже гвардейский к тому времени, вел наступательные бои. Стояла как раз знойная сушь. В танке было хуже, чем в бане, — без открытого верхнего люка нечем дышать.

Наводчик орудия старшина Плотников не успевал фиксировать в памяти, какие деревни и хутора они брали, какие речки форсировали. Последней отправной точкой был для него район города Красногородское Псковской области. Отправной потому, что именно в этом районе в их полк влилось свежее пополнение: прибыл из Челябинска эшелон «ИСов». Новенькие, без единой царапины, танки сразу ринулись в бой. Взаимодействуя с другими частями, тридцать третий полк в конце июня прорвал очень сильную оборону противника и устремился вперед. Он вскоре вышел на территорию Латвии и вот тут, почти на границе, наткнулся на новый оборонительный рубеж противника. Наступление наших войск захлебнулось. Это произошло одиннадцатого июля. Плотников запомнил число, потому что оно оказалось для него роковым.

В полку после изнурительных кровопролитных боев осталось только два танка. Их отвели в укрытие — низенькую ложбину на опушке леса — и замаскировали еловыми ветками. Необходимо было срочно организовать круговую оборону.

Старший лейтенант Столбов распорядился снять с подбитых танков уцелевшие пулеметы и установить их на особо опасных направлениях. Бойцов в наличии оставалось человек пятнадцать — двадцать. Комбинезоны на них были просолены потом, знойное солнце корбило их на спинах белыми, в разводах, заплатами.

Старшина Плотников почему-то выделил тогда из всех уцелевших бойцов именно Некипелова. Наверное, из-за роста: все-таки на голову выше других. Он был тоже наводчиком орудия, спешившимся уже два дня назад. Его танк был подбит прямым попаданием и, обгоревший, стоял неподалеку от ложбины, осев правым боком на сползшую с траков гусеницу. Некипелов ловко управлялся с пулеметами, будто всю жизнь исполнял обязанности стрелка-радиста, а не орудийного наводчика. Плотников сейчас не помнил, знал ли его раньше, не спешившегося. Может, и знал. Но составы экипажей в боевых условиях менялись так часто, что удивляться не приходилось, если и не знал. Одно застряло у Плотникова в мозгу, что Некипелов вроде бы звал его Васей и рассказывал ему о сыне. Значит, они были близки и раньше. Но Плотников не мог припомнить ни одного случая, чтобы они когда-нибудь на привале оказались вместе и поделились бы друг с другом окурком, глотком воды из походной фляжки, обменялись бы какими-либо словами. Не сохранила этого память.

Хотя другие, с сегодняшней точки зрения совершенно необязательные детали той бивуачной жизни запечатлелись нетронутыми-свежими, будто Плотников пережил все это буквально два-три дня назад. Он запомнил, например, выгоревшую траву в той ложбине, в которой они укрыли свои последние танки. Запомнил ящерицу, скользнувшую по траку гусеницы, бывшую перед глазами какую-то долю секунды. Запомнил, что в тот решающий для него день паук плел на кусте паутину колесом, а это, по приметам, обещало устойчивую погоду. Запомнил и муравейники — не закупоренные, открытые, не предвещающие спасительного дождя.

— Товарищ старший лейтенант! — услышал старшина Плотников растерянный крик Некипелова. — На опушке немецкий танк!

Плотников сидел в танке, на командирском месте, и протирал ветошью запылившиеся стекла оптических приборов. Он приподнял голову из люка и разом ухватил всю картину создавшейся обстановки: суетливо вынимающего из кобуры пистолет старшего лейтенанта Столбова, бегущего к «тридцатьчетверке», неестественно высокого Некипелова, залегших у пулеметов бойцов и разворачивающийся в сторону Плотникова ствол немецкой «пантеры». Плотников унырнул в башню и, соскользнув на свое рабочее место, к прицельному устройству пушки, хотел было опередить противника, но не успел. Снаряд прошил броню «тридцатьчетверки», обдав лицо Плотникова жаром осыпавшейся окалины. Плотников, еще не видя, но уже зная, что его танк вот-вот запылает, приник к прицелу. Зрачок вражеского ствола смотрел на него в упор. Плотников сделал выстрел первым, но «пантера» тоже изрыгнула огонь, и Плотников почувствовал, что его ноги придавило плитой. Он успел увидеть пробойную в башне и сквозь нее — поникший, искореженный ствол своей пушки. В танке уже бушевало пламя, рвались патроны.

Через дымящийся люк к нему тянул руки Некипелов:

— Вася, живой?

Плотников, сознавая, что он уже не жилец, испугался за Некипелова: огонь подбирался к снарядам, и они вот-вот должны были ахнуть, доделав за «пантеру» то, что не сумела она.

— Меня не вытаскивать, — задыхаясь дымом, предостерег он Некипелова. — У меня придавило ноги.

Некипелов ящерицей вполз в люк и, высвободив ноги Плотникова, кулем вытолкнул его на броню, а потом выкарабкался наверх и сам. Одежда на них горела.

Плотников, сознавая, что он спасен, потерял сознание. Он уже не слышал, как рвались в его танке снаряды, не видел, что «пантера» тоже горела, не различал голосов склонившихся над ним солдат. И только в медсанбате, придя в себя, обнаружил, что ранен в левую ногу.

После выздоровления его уже не вернули в свою часть, а, поскольку

он и в танковом полку все равно был орудийным наводчиком, направили в артиллерию. Войну старшина Плотников завершил на самоходной установке СУ-152, на «зверобое», как окрестили ее фронтовики за то, что она напавал разила из своей стопятидесятидвухмиллиметровой пушки гитлеровское зверье — «пантер» и «тигров». На своем «зверобое» оказался Плотников аж под Найденбургом, можно сказать, в логове фашистского зверя. Но от зверя уже и помину не было — выбили подчистую.

...У скотного двора наши бабы галдели, русские. Мать честная, их-то куда занесло? Подъехали к ним на «зверобое» поближе, они не шарахнулись в стороны, не разбежались. Одна, степенная такая, осанистая, ладонь к глазам приставила, чтоб не слепило солнце, и говорит:

— Ну, чего уставились? Молока захотели, так скажите — нальем.

Плотников разглядил усы:

— Не отказались бы...

Они ему принесли прямо в ведре, и он пил из него, как пьют в деревнях из колодцев воду — пока не остановится в горле.

Плотников распрямил поясницу, прогнулся назад, выпячивая усохший от походной жизни живот, но сейчас надутый, словно барабан, и через гимнастерку погладил себя, добродушно посмеиваясь, по натянутой коже, показывая бабам, как они его надоволили. А вокруг ведра уже табунились другие солдаты, и доярки, опасаясь, что молока не хватит, притащили еще ведро. Пена вздымалась в нем чуть не до дужки.

— Пейте досыта.

— Ну, бабы, век не забуду,— сказал Плотников, обтирая усы.

— Да ладно зубы-то заговаривать,— отмахнулась рукой степенная.— И не такое забываете, хоть обещаетесь помнить.

Плотников подбоченился, оживляясь, понимая нехитрый намек, хлопнул ее ладонью по заднему месту:

— Вот уж я, милая, ни за что не забуду.

И солдаты тоже развеселились, почувствовали себя как на гулянке. Да и бабы не собирались плошать, хохотали, взвизгивали. Были они, как одурелые, совсем не такие, как в начале войны. Плотников уже приобнял осанистую за талию, но она повела плечом, которое оказалось на уровне плотниковских усов, и вывернулась из-под его руки:

— Охолонь, солдатик... Вас тут таких увивается... Не перечить. Садись в свою тарактелку да уезжай... Поди, жена заждалась...

Не было у Плотникова жены, но остудила его осанистая скорбью в голосе. Не будешь же перед ней оправдываться, что холостой.

Спросил, чтобы замять инцидент: откуда такие, как попали сюда? Оказывается, смоленские. Приехали за скотом. Разорил фашист на Смоленщине все деревни, коров поугонял, теперь вот уцелевших назад вертают.

— Ну, счастливого пути!

На прощанье женщины предложили им испить молока еще.

Плотников провел ребром ладони по горлу:

— Не можем.

— Ну, с собой берите.

А куда с собой, не в бак же вместо горячего заливать. Только и есть, что трофейная фляжка, прицепленная на ремне сбоку.

— Давай в нее.

Степенная налила ему фляжку и укорила:

— Что-то вы, служивые, больно уж не запасливы. С такой баклажкой не разживешься впрок.

— Солдату много не надо: легче ноша — веселей наступать, — отговорился Плотников.

— Веселей, если брюхо судорогой от пустоты не сводит, — не согласилась она и снова предложила: — Ну, с собой не можете, так испейте еще.

Плотников, чтобы не обижать ее, наклонился к ведру снова. Молоко пахло рекой, какими-то травами и родным домом. Он глотал его крупно, не испытывая чувства сытости и удивляясь тому, что пьет, хотя минуту назад это ему казалось невозможным.

Он вот так пил молоко второй раз за войну. И когда он подумал об этом, его вдруг ожгло памятью. Он отпрянул от ведра и спросил у баб:

— Среди вас Марии Некипеловой нет?

Осанистая не уловила перемены в его настроении.

— Не слепой, так смотри сам, — засмеялась она.

А бабы загалдели опять:

— Какой там еще Марии? Мы-то, что ли, кривые?

— Выбирай любую из нас... Не подкачаем...

Да, бабы были все-таки как одурелые.

Осанистая поймала его очумелый взгляд, прикрикнула на своих товарок:

— Тихо, бабы! Или не видите, что мужику не до вас...

Плотников переспросил у нее:

— Так Марии Некипеловой нету?

— Нету, солдатик, нету, — сказала она.

Плотников сел в машину.

И как это он всю Россию прошел, до фашистского логова добрался, а о Марии забыл? Она же на него тогда с такой надеждой смотрела.

За Семлевым это произошло, на той же самой Смоленщине, откуда и эти бабы. И не они бы, не баклажка молока, налитая ими в дорогу, и не вспомнил бы старшина Плотников, как пил молоко под Семлевым.

Да, бабы были тогда другие. Те были из деревни Русилово. Они спасали племенной скот, симменталок. Гнали его на восток, не зная, где им предпишут остановиться.

Над дорогой, не оседая, стояла пыль. Она лежала толстым, сыпучим слоем по кюветам, на придорожной траве, которую невозможно было принять за траву, на посеревших телеграфных столбах и даже на проводах, от этой тяжести не гудевших. На какую же глубину она залегает на проселочных дорогах, где ей предел? Ее разносят гусеницами танки, вздымают шинами автомобили, разбрасывают сапогами солдаты, сгребают на обочины вязнущие по ступицы конные повозки, а пыли на дороге лишь прибавлялось. Ее змеистый хвост тянулся через все поле, и на поворотах было видно, что она, клубясь, стояла даже над лесом, в который нырнула дорога.

Войска шли на восток, глотая пыль.

Перед ночным привалом колонна, в которой брел усталый Плотников, догнала русиловских баб. Они, свернув стадо с проселка, доили коров. Пахло парным молоком, и командир колонны не устоял, разрешил солдатам перекурить. Бабы были мрачны, незадиристы. Молоком они, конечно, солдат угостили — не сливать же его в борозды: коров доили не из-за молока, а из-за того, чтобы их не испортить, чтобы не затвердело вымя.

Молоко, показалось Плотникову, горчило. Но он пил его жадно и думал, что горчиит, скорее зсего, от пыли, сковавшей горло, от пота, которым просолилась, наверное, не только кожа, но и внутренности, горчиит от горечи отступления.

Баба, поившая Плотникова молоком, была немолода. На опавшем лице ее, кроме глаз, казалось, ничего не осталось. Глаза были большие, печальные, как у богоматери на иконе.

— И вы уходите... — сказала она поблекшим голосом и вздохнула. Плотников виновато отвел взгляд в сторону.

По большаку все еще катилась лавина людей, повозок, машин. Пыль уже не вздымалась к небу: отсыревший к вечеру воздух отяжелил ее. Дышать стало легче.

— Ничего, бабы, потерпите, — сказал женщине Плотников, не смея поглядеть ей в глаза. — Скоро назад повернем.

— Дай-то бог, — опять вздохнула она.

И потом уже, когда налила ему молока в котелок — на дорогу, — не сдержалась, припала к его груди и заревела:

— С родного ведь пепелища, соколики, ухожу... Мужики незнамо, по какому адресу и письма мне присылать, немцы ж в Русилове-то...

— Ну, ничего, ничего, — успокаивал он, глядя ее по спине. — Выбьем немца... Напишешь ему...

Она подняла на него зареванные глаза:

— А куда писать-то, он ведь тоже безадресный, как и ты, в какой-то колонне идет...

— Почему безадресный? — горячо возразил он. — У каждой колонны свой воинский номер! Почта по номерам найдет.

— Да его номер уж третий месяц молчит... Соколик,— она смотрела на Плотникова умоляюще.— Если встретишь его на войне, скажи: Мария, мол, ждет.

Он, не зная еще ни фамилии, ни имени мужика, обманывал ее, что скажет, что непременно передаст от Марии ему поклон.

— Скажи, родимой,— просила она и вдруг, встрепенувшись, вспомнила, что не сообщила Плотникову самого главного, заторопилась.— Иваном его зовут... Иван Матвеевич,— и назвала фамилию.

Плотников мог бы сейчас поклясться, что он услышал из ее уст фамилию Некипелова. Ну, не приснилось же ему все это — и пыльная колонна, и русиловские бабы, и молоко, сладостную горечь которого он помнит и по сей день.

— Он высокий такой, приметный,— говорила она и уже улыбалась.— Из всех солдат солдат — высокий... Спроси, из Русилова, мол? Тогда и кланяйся... От Марии, мол, весть принес.

Ох, святая бабья наивность... Плотников выпил молоко из котелка и забыл о Марии. До нее ли было, когда кругом рвалось и горело, падало и стонало, обливалось кровью и корчилося в муках? Кто из баб не вис тогда у встречного солдата на шее и не просил в этой неразберихе отыскать мужа или сына?

Через неделю же и забыл Плотников бессмысленный Мариин наказ.

И вот теперь, под Найденбургом, его ожгло памятью: не тот ли его Некипелов спас, которого искала русиловская баба Мария? Не ему ли она передавала поклон? Не танкисту ли Некипелову?

Он отправил в Русилово несколько писем — с разрывом в три дня: Некипелову Ивану Матвеевичу, Некипеловой Марии и в сельсовет. Первые два вернулись обратно — на конвертах одной и той же рукой выведено: «Адресат не проживает». Так проживал или нет? Об этом-то почему не сказали? Ну что за бессердечный народ на почте?

Сельсовет на его письмо отозвался по-человечески. Сообщил: в Русилове Некипеловых не было, а с племенным скотом уходили на восток старухи и перечислил, кто — Варвара Антоновна Курьянова, Анна Федоровна Егорова, Елена Андреевна Павлова...

Да была же среди них Мария! Ну, он мог ошибиться в фамилии, мог не запомнить имя того Некипелова, которое на ходу твердила ему русиловская баба. Но ее-то звали Марией! Уж на ее-то счет у него сомнений не было. Он же помнит, как другие бабы оттаскивали ревушую Марию от его груди и успокаивали: «Мария, найдется мужик твой. Не хорони раньше времени...» Они ж тоже ее Марией звали!

Но после сельсоветского разъяснения Плотникова все чаще донимали сомнения. Русиловская баба была действительно немолода. Некипелов, с которым старшина горел в одном танке, был много моложе ее. Плотников, не помня его в лицо, судил о возрасте Неки-

пелова по той юркости и изворотливости, с какой тот исполнял службу и какой старому, как Мария, человеку было бы в той обстановке не проявить. Нет, конечно, они не пара. Она годилась ему почти что в матери. Плотников, скорей всего, чего-то тут перепутал. Тем более сообщили ж люди, что в Русилове Некипеловых не было вообще.

И все же, не веря русиловскому письму до конца, Плотников томил себя ожиданием ясности, будто она могла снизойти к нему с неба и в один прекрасный момент озарить его пониманием того, что происходило вокруг. Он сознавал: юркость — еще не довод, потому что женщины стареют быстрее мужчин. Да и какая у баб изворотливость? По изворотливости их возраста не узнать и с мужским возрастом не сопоставить.

Но в Русилове Некипеловых все же не было. Это факт.

И Плотников, подталкиваемый памятью о русиловском молоке, стал искать их по другим местам.

4

Гришка пришел к старшине с фотографией отца. Мать говорила, что отец снимался на паспорт, когда устраивался на работу в «Заготзерно». Фотография была маленькая, пожелтевшая с лицевой и обратной стороны. Но сквозь желтый наплыв времени вполне отчетливо проступал волевой и напряженный взгляд человека, пнимающего, зачем он живет.

— С собой возишь? — спросил старшина.

— Да она маленькая, ее хоть куда положи...

Старшина неузнаваемо повертел фотографию в костлявых пальцах.

— Уж больно слепа, — вздохнул он. — Ничего не разглядеть... Вот если бы во весь рост...

Разглядеть-то можно было на фотографии все. А вот слепая она или не слепая, тут старшине лучше бы помолчать: единственная, других у Некипеловых не было. Мать отдала ее Гришке, видимо, признавая его право на то, что после отца сыну быть в доме хозяином, а раз хозяином — то самое святое хранить ему.

Старшине, видимо, передалась Гришкина мысль, он смущенно крякнул, положил Гришке на нематый погон свою тяжелую руку:

— Не потеряй, береги память-то...

— Да я в солдатской книжке ношу...

Гришка уже понял, что старшина не узнал отца. Да и как узнать, если отец, скорей всего, не успел побыть ни танкистом, ни пехотинцем, а еще в железнодорожном составе, идущем к фронту, угодил под бомбежку. Если бы сложилось у него по-иному, наверно бы, не одно письмо успело прийти. А тут одно-единственное. Да еще после войны, когда мать через военкомат подала заявление на розыск, пришел

конверт с казенным, отпечатанным на машинке вкладышем: так, мол, и так, рядовой Некипелов пал геройской смертью в боях с немецко-фашистскими захватчиками в августе одна тысяча девятьсот сорок первого года. Ни точной даты, ни места, где он погиб, не указали... Обознался старшина: нашел не того Некипелова.

И старшина, похоже, понял свою промашку, насупился и неожиданно для Гришки построжел, будто Гришка и виноват в том, что он ошибся.

— Ну, а собой-то он был каков? — спросил Плотников строго. — Ну, я, старый хрыч, из памяти выжился, а ты же молодой человек, — затынул он старую песню, — ты же должен знать, какой был у тебя отец, где он воевал, на каком фронте...

— Под Ленинградом.

Старшина не слушал его.

— У тебя же один был отец, а не десять. За одним должен был проследить, что и как... Это у меня рядом падали, как снопы на овине, не знаешь, кого убило, а кто просто в землю вжался, лежит.

— Под Ленинградом, — повторил Гришка, хотя в точности, конечно, не знал, Ленинград был из области семейных предположений.

— Под Ленинградом — место широкое, — сказал старшина. — И Псков под Ленинградом, и Новгород, и Прибалтика вся... В каком месте?

Он сердился на Гришку, Гришка чувствовал это. Но что он мог сделать, если в похоронной не сообщили, где лежит отец. Ведь не случайные люди составляли для них похоронную, ведь отвечают же они за то, что делают... Кому верить-то, коль не им? Кто ж больше-то их знает? Не полежаевские же бабы?

— Своими глазами могилу видел? — напирал на него старшина.

— Не видел.

— Ну, вот то-то, — укорял Плотников. — А говоришь, под Ленинградом... Своими глазами увидь...

Его что-то беспокоило и сердило. Гришка чувствовал: старшина какую-то информацию держал в себе, и эта недосказанность давала Гришке повод надеяться, что он узнает от Плотникова об отце дотеле неведомую им с матерью правду.

— Нет, — наконец решил сказать старшина. — Не знал я твоего отца... Мой Некипелов до сорок четвертого года тянул... А может, и больше даже. Я пока что не знаю... А твой, видишь, в начале войны...

Он опустил глаза.

Гришка вышел от Плотникова растерянный, и старшина с того дня перестал докучать ему разговорами в каптерке. Встретит если при смене белья перед баней, гаркнет нарочито бодрым голосом:

— Как жизнь, рядовой Некипелов?

— Лучше всех, товарищ старшина.

Плотников засмеется и больше ни о чем не спросит.

И все же на первом году службы приснился Гришке тревожный сон. Старшина настойчиво спрашивал его:

— Своими глазами могилу видел, рядовой Некипелов?

— Своими,— отвечает Гришка, уверенный, что говорит чистую правду, и во сне было ему легко. А проснулся — разболелась душа, будто он и в самом деле соврал старшине.

Но он же ему не соврал. Он видел во сне солдатский обелиск над холмиком цветущей земли и им, Гришкой, высеченные слова:

НЕКИПЕЛОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
1909—1941

Люди! Ценой своей жизни он защитил вас!

5

Как Григорий ни берегся, от намазученных пальцев на письме старшины оставались масляные пятна. «Надо было руки сначала помыть, а потом уж браться за интеллигентное дело»,— думал он. Но обратный адрес настолько его раззадорил — а вдруг и в самом деле Зинаида выкарабкалась в генеральши? — что Григорий пренебрег осторожностью и распечатал конверт. Теперь-то, прочитав письмо до конца, он сожалел, что поддался нетерпению: такое письмо надо бы хранить вечно.

Конечно же, старшина не подозревал о том, что пишет письмо своему же солдату. Он и не скрывал, что пользовался услугами адресного бюро. Гришкин-то адрес наверняка в архивах воинской части есть, а старшина достал его через справочный стол.

«Это ж надо,— удивился Григорий.— До сих пор своего Некипелова ищет».

Он поежился от укорной мысли. В ушах его прозвучал голос Плотникова:

— А ты своими глазами могилу видел?

АЛЕВТИНИНО ГОСТЕВАНЬЕ

Нюрке жалко было Алевтиныны туфли. Они на весь каблук давливались в мокрый песок, хотя Алевтина и старалась идти на цыпочках.

— Сняла бы, да босиком,— сказала Нюрка.— Не по асфальту ведь, за два дня обдерешь.

— Ничего, Илюша новые купит,— ответила Алевтина и пошла смелее, будто на ногах у нее сапоги. Козий след потянулся точеной строчкой.

Тропка после дождя была узковата — натоптать еще не успели, и Нюрка, страдая, шагала сзади, не в силах смотреть, как вязнут в земле Алевтиныны туфли.

— Босой-то, что ли, боишься? — не удержавшись, укорила она подружку. — Корост от земли не будет...

— Да уж отвыкла я, Нюрочка, босиком ходить. Перед людьми неудобно: не девочка все-таки.

Нюрка чуть с досады не плюнула и, утешая себя, подумала: «Ничего, Петиха тебе покажет».

Мария Петиха молча встретила их у порога, посмотрела, как Алевтина сняла раскисшие туфли, как, потягиваясь, прошлепала босыми ногами к зеркалу и, словно сознавая, что родную дочь упрекать все равно бесполезно, заворчала на Нюрку:

— Загордилась, славутница. Без провожатых и дороги к Але не знаешь. А ведь Аля вчера приехала: «Где-то Нюра? Чего не идет? Сбегаю, мама, к ней». С матерью двух слов сказать не успела, а уж собралась бежать. Сиди, говорю, вертихвостка. Не отпустила ее.

Петиха опять посмотрела на туфли. Под ними темным пятном скопилась вода.

— Ухайдакаешь туфли-то, — забеспокоилась Петиха.

— Да ладно, мама, — остановила ее Алевтина. — Илюша новые купит.

— Напокупаешься на тебя, — вздохнула старуха и обеспокоенно посмотрела на дочку: чего-то она никак не могла в ней понять и оттого тревожилась.

Перед тем как садиться за стол, Алевтина повела Нюрку в горницу — показывать наряды. Платья и кофточки у нее были красивые, но Нюрка ничуть не завидовала: в деревне в таких куда пойдешь. Разве в район когда съездить, так и то вырезы на груди велики слишком.

Но у Нюрки заблестели глаза, когда она увидела паспорт. На гербованных листочках старательно выведена тушью новая фамилия Алевтины. Нюрка непривычно повторила ее:

— Елсукова.

Илюшу по фамилии в деревне никто не звал. Как железом каленым выжгли, на всю жизнь припечатали прозвище — Илюша-Центнер. И был-то он худенький, с рукавицу весом, а вот поди ж ты — Центнер, и все.

Слыл Илья неживым. Про таких говорят в деревне: на ходу уснет. Ветром вырвало с крыши у Елсуковых тесину, так все лето упиралась она одним концом в желоб, а другим — в землю. И только когда уходили ребята в армию, пришли к Илье пиво пить. Коля Задумкин не вытерпел, забрался на крышу.

Девки обходили Илюшу за три версты, даже на проводы не заглянули к нему. А он, отслужив три года, остался в армии на

сверхсрочную — в кладовщики пошел,— приехал в первый же отпуск, да и увез Алевтину.

— Вот тебе и Илюша,— дивились бабы. А уж больше-то всех дивилась Нюрка. Три зимы с Алевтиной на ферме работали, все пополам делили. Уж кто Алевтину лучше Нюрки знал — никто.

Перед отъездом пришла Алевтина на дойку, смеется:

— Илюша-Центнер замуж зовет.

Посмеялись вместе, а на другой день не явилась она на работу: Елсуковой стала.

...Мария Петиха заглянула в горницу:

— Самовар-то стынет. Второй раз ставить не буду.

Сели за стол. Выпили по рюмочке красенького. А разговор, как бывало-то, не вязался. Отвыкли, видать, друг от друга. Алевтина спросит, Нюрка ответит коротко. Нюрка для приличия вопрос задаст — Алевтина проронит слово. А думают, видно, каждая о своем.

— Вы, девки, как умирать собрались,— сказала Петиха и еще налила по стопке.— Аль! Ну вот ты посмотри на Нюру,— сказала она озабоченно.— По-о-олненькая, как помидорчик... А ты-то чего иссохла вся?

И опять затуманились глаза у старухи.

— Да хватит, мама,— поморщилась Алевтина.— Дай хоть посидеть с человеком.

— Да я ведь чего,— покладисто согласилась Петиха.— Я молчу...

Она отщипнула от пирога кусок мякиша, вместе с крошками, подобранными со скатерти, бросила его на язык и долго и отрешенно перетирала беззубыми деснами. Отвернулась даже от девок в угол. А в глазах все не таяла тревога, и Петиха, наверно, сама не заметила, как снова ввязалась в беседу:

— Я ведь только чего и сказала-то — что Нюра полненькая...

— Ну, завелась, как пластинка...

Петиха положила пирог на стол, заморгала повлажневшими ресницами. И дочь, предупреждая ее обиду, ущипнула Нюрку за бок.

— А тебя и правда ухватить не за что,— сказала она неестественно весело.— Как мячик стала...

— Сама-то какая была,— сказала Нюрка.

— Вот и я ей про то толкую,— обрадовалась неожиданной поддержке Петиха.— Сама-то мягонькая была, аккуратненькая...

Алевтина возразила ей строго:

— А теперь полные-то не в моде.

Петиха всплеснула руками:

— Да перед матерью-то чего выкручиваешься? Вижу ведь, не слепая: по абортам заладила.

— Ну мама-а...

— Ладно, ладно, не мамкай. Замужнее дело такое — стыдиться нечего.

Алевтина встала из-за стола:

— Спасибо за хлеб-соль.

Позвала Нюрку в горницу.

Петиха растерянно посмотрела ей в спину.

— Да я ведь чего и сказала-то... Вот, Нюра, при тебе весь разговор наш был... Ты как своя... Не пойдешь по людям трезвонить... Вот скажи ты ей: ну разве есть за что на меня обижаться, не правду, поди, говорю ей? Сердце-то у меня ведь тоже не каменное. Мать ведь я. И пофыркивать на мать нечего...

Лицо у нее покраснело и сморщилось. Углами платка — то одним, то другим — она стала сушить под глазами, тихонько всхлипывая.

В горнице Алевтина снова выдвинула из-под кровати свой чемодан и отыскала под ворохом платьев белые носки.

— Вот подарок тебе.

Когда-то такие носочки было днем с огнем не сыскать. Кто бы ни поехал в город, от всех девок один заказ — купи носочки.

— Ой, Алька, да не носят теперь такие...

По простоте сказала. Лучше бы промолчать. От подарка разве отказываются?!

Алевтина захлопнула чемодан, на кровать села.

— А раньше-то как гонялись, — сказала она задумчиво.

Начали было вспоминать, как бегали раньше плясать на игрищах, и парней прежних всех перебрали, кто где пристроился да кто женился уже припомнили.

Но разговор выходил невеселый. И Алевтина, то ли желая взбодрить его, то ли задумав выведать подробности, о каких в письме не расскажешь, спросила:

— А ты, чертовка, скоро ль замуж пойдешь?

— У меня женихи не выросли.

— Ну, не скажи-и, — возразила Нюрке подруга. — Твой жених давно в переростках бегаёт. Вот, правда, работа у пастуха ответственная — для женитьбы времени не найдешь...

Нюрка заалелась вся, понимая, что Алевтина намекает на Колю Задумкина.

— Он у тебя ничего-о, — не унималась подруга. — Я бы за таким глаза закрыла — и хоть сегодня в омут. Ой, и налюбилась бы с ним, на дне-то...

Алевтина захохотала. «Ну и кобыла», — подумала Нюрка, чего-то пугаясь и оттого не находя слов, какими можно урезонить насмешницу.

— А может, он у тебя такой: и тебя блюдет, и по бабам не бегаёт? — прищурясь, спросила Алька.

— Не бегаёт!

— Ой ли? До тридцати-то лет? Ох, не маху ли я дала, поторопилась с замужеством. Ведь и глянулся мне раньше-то, — Алевтина

пронзительно посмотрела на Нюрку, и та поразилась: смеху-то нет у хотуньи в глазах, смех-то во рту завяз.

Нюрка, охваченная смутным беспокойством, засобиралась домой. Алевтина ее не удерживала, сидела, обмякнув, на кровати.

Не получилось ни разговора у них, ни шутки.

* * *

Нюрка торопилась с работы. И проскочила бы Алевтинин дом, если б подруга ее не окликнула:

— Куда военным-то шагом, да с перебежками?

Алевтина сумерничала на скамеечке у ограды. Подолом прикрыла за спиной крапиву: боялась, видно, платье измять, сидела на голой доске. Она лениво встала и, покачивая бедрами, пошла с Нюркой рядом.

— Пойду к тебе ночевать.

И раньше такое случалось: захочется языки почесать — спать ложились вместе.

— Смотри, рано вставать мне,— предупредила Нюрка.— Боюсь, разбужу тебя...

Алевтина почувствовала насмешку.

— А ты не бойся — сказала она и прищурилась, как вчера, когда говорила про Колю.— Я на ферму с тобой пойду.

Многозначительно как-то сказала.

Нюрка стрельнула в нее глазами.

— Ну, ну, покажись, какова теперь стала...

Алевтина хотела что-то ответить, но навстречу шли двое парней.

— Здравствуйте,— сказала им Алевтина.

Парни удивленно поозирались и молча прошли мимо. Уже на бугре, сообразив, что, кроме них, на улице никого не было, они обернулись разом, обрадованно воскликнули:

— Здравствуйте, девочки!

Алевтина громко и как-то незнакомо захохотала.

— Ты чего? — испугалась Нюрка.— Это же не наши!

Парни выжидательно постояли, подумали и, закурив, пошли дальше.

А у Нюрки все еще звучал в ушах незнакомый смех Алевтины.

— Сумасшедшая, — сказала она.— Разве можно с чужими-то?

— Ты смотри, какая пугливая,— не поверила Алевтина. Или притворилась, что не поверила.— А чужие-то разве хуже?

И засмеялась опять.

Кровать под марлевым пологом стояла у Нюрки в левом углу повети, свободном от сена. Девки легли и еще долго смотрели сквозь марлю на щелястую крышу, пока темнота не замазала узкие полосы

света. И тогда повесть начала жить таинственной жизнью. Шуршало, уплотняясь от собственной тяжести, сено, будто в нем бегали мыши. Внизу, во дворе, одиноко вздыхала корова, и, невидимые, зудели над пологом комары.

— Тишина-то какая,— прошептала гостья.— Отвыкла уж я от такой.

Нюрка устроилась поудобнее, закрыла глаза.

— Ты не перепугайся завтра,— предупредила она.— У меня над кроватью будильник висит.

— А ты уж спать собралась?

— Да ведь рано вставать...

Алевтина вздохнула.

— Доярка как солдат в карауле,— сказала она задумчиво.— Солдат два часа спит, два — бодрствует, а два — на часах стоит. За сутки и набирается вроде бы восемь часов сна и восемь свободного времени,— а из караула очумевшим приходит...

— Это ты про Илью?

— Нет, про доярку. Сравниваю просто.

— Чего-то раньше не сравнивала...

— А раньше не с чем было...

Завозились на нашесте куры. Под осторожными шагами кота глухо прошелестела на крыше дранка. И опять стало тихо.

Алевтина не могла молчать в такой тишине.

— Я вот только теперь и вздохнула всей грудью.

— Когда за Илюшу выскочила? — подколола Нюрка.

Алевтина не обиделась на нее и даже усмехнулась.

— Вот вы — Илюша, Илюша... А может, лучше Илюши и мужа нет.

— Ну, ясно, нет!

Алевтина будто не поняла подковырки, не шелохнулась даже.

— Илюша со службы придет, чаю поьем и идем гулять,— голос у нее был мягкий, ласковый, каким сказку детям рассказывают. — Улица у нас тихая, в березках вся — как деревня... Иной раз на танцы ходим, а то в ресторан заглянем — не старые ведь. Ресторан от нас в десяти минутах на трамвае проехать... Все-то рядом, удобно, ног никогда не запачкаешь... Каблучками по асфальту выстукиваешь, а встречные парни оглядываются, так и едят глазами. Илюша верстает даже,— она засмеялась тихонько, как ручеек зажурчал. — Говорит, ходи в босоножках. А ведь, Нюра, чего худого в этом? Пускай оглядываются — меня не увидят...

Нюрка не видела лица Алевтины, но ей казалось, что та улыбается.

— А то Илюша друзей позовет. Посидим за столом, радиолу слушаем, поговорим, посмеемся. Ребята у нас хорошие, деревенские все. А есть старшина, веселый такой: на аккордеоне играет, песни

поет. Родом из Кировской области. Вот это, Нюрочка, парень, — и неожиданно предложила: — Хочешь, пошлет тебе карточку?

Нюрка задышала ровно и глубоко.

— Спит, — устало вздохнула гостья, отвернувшись к стене и согнувшись калачиком.

А Нюрка лежала с открытыми глазами, не смея пошевелиться. Будто сковало всю — хоть реви, хоть кричи на всю улицу. Но рядом не спала Алевтина, прислушиваясь к ее ровному дыханию, и завидовала, наверно, что та быстро уснула.

Вот вся-то жизнь в зависти. Тот легко засыпает. Той посылки идут от родни с Украины. А ту муж в город увез...

Бабы долго потом рядили, каково-то будет за Ильей Алевтине. Поразному мнения складывались, только все сходились в одном:

— Развязалась хоть с фермой-то.

У Нюрки не было зависти к Алевтине. Была лишь обида: подруги все-таки так не делают, чего скрытничать, на шею к ее Илье не бросилась бы. Да, господи, кому он нужен. Илья-то... Смех и горе...

Завидовала Нюрка в своей жизни однажды только. Да вместе с Алевтиной и говорили об этом, ревели даже от зависти, кажется.

В школе они учились вместе с Мартьяновой Галькой. Нельзя сказать, что Алевтина и Нюрка хорошо успевали по всем предметам. Но уж не на тройках, как Галька, ехали. Школу окончили — куда сунуться? Об институте и не мечтали: только проеждишься — рублей сто, не меньше, — да славу худую домой привезешь: ну-ка, провалили экзамены, стыда ведь не оберешься.

Галька тоже на учебу не собиралась. Но отец у нее продавцом работал, а мать — уборщицей в клубе. Не колхозники. Гальке паспорт еще в девятом классе выдали. И уехала она в город, на льнокомбинат.

Ревели ведь, дуры, помнится: «Мы-то что, за хвосты к коровам привязаны?..».

А Галька через полгода вернулась домой, в библиотеку устроилась.

— Ну, как там, в городе-то? — пытали ее.

Она только отмахивалась:

— Ой, девки, везде работать надо...

Но хоть на белый свет посмотрела. Хоть не надо было Илюшу искать.

* * *

Илюша приехал в отпуск, едва склынуло водополье. В логах, правда, было полно воды, но коров уже выпускали на свежую зелень.

В день приезда он обошел всех соседей, с каждым за руку поздоровался. Сапоги от блеска горят. Бабы с ног и начинали разглядывать его.

— Ох, Илья, какой ты стройный-то стал.

Илья пружинисто проходил по избе — то ли сапоги скрипят, а то ль половицы — и, довольный, прислушивался к скрипу.

Нюрка столкнулась с ним — лоб в лоб — на лестнице. Сержант надраивал бархоткой зеркальные голенища.

— Забрызгался немного, — забыв поздороваться, сказал он.

Нюрка пригласила гостя зайти, усадила к столу, сама села наискосок, к другой стене. Илюша снял форменную фуражку, повесил ее на колено.

— В отпуск приехал, — сообщил он радостно и спросил: — Ну, как вы тут?

— Да ведь у нас изменений нет, — сказала Нюрка. — Коров доим.

— Ну, ну... А ребята где, с которыми я призывался?

Нюрка подумала: «Знаешь небось. Получаешь из дому письма-то». Но все же ответила:

— А кто где... Витька вторунский — трактористом в колхозе...

— Это какой Витька? Перминов, что ли?

— Я и говорю, что вторунский. Не забыл Вторунку-то?

Илюша смутился, а Нюрка, не обращая на это внимания, обстоятельно рассказала о всех парнях, и, когда добралась до Коли Задумкина, Илюша заулыбался:

— Коля-то... все за тобой? — он будто подбирал слова. Уколоть решил или как был, так и есть недотепа?

Нюрка нагло спросила:

— Уж не ждешь ли, когда для тебя освобожусь?

Илюша только зевнул да так и остался с открытым ртом.

В это время и влетела в комнату Алевтина.

— Илюша?! В отпуск приехал? — И закричала на Нюрку: — А ты чего прохлаждаешься? Коров ведь пригнали. Хоть бы в окошко выглянула. А то через всю деревню к тебе делай крюк. Видишь, уж на бугре коровы-то?

Они забыли о госте, выскочили из дому как угорелые.

Коровы и вправду были уже на бугре. Сейчас они спустятся вниз. Заведующая фермой Мария Попова откроет двери во двор, и коровы, толкаясь в проеме, зайдут в пропахшее молоком и навозом тепло. А когда поймут, что никто не собирается их привязывать к кормушкам, никто не несет им корм, разбредутся по темному двору и начнут в тесноте бодаться...

— Девчата, куда через ратники-то? — испуганно крикнул вдогонку Илюша и забыл, что надраены сапоги, побежал за доярками. Но на угоре остановился. Спускаться в ратник — набухшую синей снежницей ложбину — он не решился.

До фермы было рукой подать. И зимой, и летом тропинка прямая — по лаве иль по льду через реку да через ложбину. Но в водополье приходилось делать обход через мост — крюк через

всю деревню и через поле, раскисшее, как болото. В водополе не так страшна река — лава все-таки высока, берега у Комьи крутые, — как страшны проклятые ратники. Воды в ложбинах скопится столько, что никакую лаву не перебросишь. Да и какая тут лава — ратники-то без берегов: в одну весну снега набухают синью только до поворота тропки, откуда она начинает круто взбираться вверх, а в иную — до самой кривой березы, прислонившейся к вытаявшей земле посередине влобка.

Ох уж эти гнилые ручьи в ложбинах, которые не зря в деревне прозвали ратниками.

Нюрка перебежала реку по лаве. Внизу крутило темную воду. Пенистые вьюны, хлопаясь о деревянный настил, уходили вглубь и всплывали наверх уже под осыпистым берегом, обнажившим корневище старой сосны.

— Как через ратники-то? — спросила Алевтина.

— А кто его знает...

В логу снежницу уже расплавил, и вода шла на убыль. Была она мутновато-желтая, дно не проглядывалось. Нюрка разулась, взяла в руки кол.

Коля Задумкин пас коров на бугре, увидел подруг, заметался:

— Девки, вернитесь, ноги настудите!

Нюрка услышала крик, и ее как током кольнуло: «Тревожится». Она, прощупывая колом землю и подняв в свободной руке сапоги, осторожно перебирала ногами по дну.

Песчаный склон уходил под воду не круто, и Нюрка облегченно отметила, что глубина будет чуть повыше колен.

— Девки, куда вы?! Патракеевские без вас подоят! — Коля торопливо спускался с угора, ноги расползались в мыльной грязи, и он размахивал руками, как пьяный. Расстегнутый плащ цеплялся лапами за кусты.

— Коля, миленький, помоги, — пропела за Нюркиной спиной Алевтина. Нюрка оглянулась: чего это она? Подруга, зажав под мышками сапоги, обеими руками приподымала подол. И воды-то было всего по колено, а задрала юбку чуть не до пояса. Нюрка невольно, будто это не Алевтинины, а ее были ноги, выпустила кол из руки и расправила намокшее снизу платье.

Коля влетел в воду с разгону и, поднимая брызги, торопливо пошел навстречу девкам. Прорезиненный плащ плыл за ним, как собака.

— Нюрка, не ходи дальше, здесь глубоко, — он остуился в яму, судорожно вздохнул и выскочил на мелкое место. — Не ходи, говорю, я сейчас.

Он поднял ее на руки и, обходя яму, вынес на просыхающую тропу.

— Коля-а-а! — закричала жалобно Алевтина. Она все стояла в воде, держась за подол.

— Не визжи. Сейчас вынесу.

Он, расталкивая воду, пошел за ней. И когда взвалил ее на руки, Алевтина, словно утопленница, обхватила его за шею. «Бессовестная!» — задохнулась Нюрка. И потом ревность никак не оставляла ее: и когда Коля под руки вел их в теплушку отогреться; и когда он убежал за коровами; и когда они сидели вдвоем и держали ноги в ведре с парной водой, прислушиваясь, как покалывает пальцы; и когда заведующая фермой Мария Попова, похохатывая, спрашивала: «Ну как, девки, ратники-то — поухватистой ухажеров?», а Алевтина в ответ по-бабьи ругалась:

— К лешему все! Не могу больше. К черту!

Но утром забылось все. Алевтина явилась на работу веселая и, поманив Нюрку пальцем, увела за кормушки:

— Илюша-Центнер замуж зовет.

Посмеялись вместе.

Будильник загремел неожиданно, будто и не было ночи. Разбуженный, загорланил петух. Курицы покудахтали на нашесте и захлопали крыльями, поднимая на повети ветер. Щели на крыше уже просвечивали.

Нюрка натянула на себя холодное, повлажневшее за ночь платье. И долго не могла разобраться: то ли приснились ей ратники, то ли не спала до утра, вспоминала.

* * *

Нюрка любила во дворе чистоту. Если у стойла выскоблено — и шерсть на корове лоснится, будто дорогой воротник. Во время дойки прижмешься щекой к ворсистому боку коровы и слушаешь, как она дышит. И тепло, и удобно. Молоко туго звенит о подойник...

— Коровы-то у тебя прихоженные,— похвалила Нюрку подружка. — Дай хоть одну подою.

Бабы сразу заметили горожанку.

— Алевтине — эй! — крикнула Мария Попова. Ее не было видно, сидела под пестрой коровой. — Не забыла еще, где соски-то искать?

— Да не забыла,— ответила Алевтина. Она огладила вымя, и звонкие струи заговорили пенисто и настырно.

— Иди в доярки-то снова,— перекричала Мария звон молока.

— Да я уж, видно, свое отдоила.

— Ну? Загордилась али от нашей работы отвыкла? — Мария, зажав в руке беспокойный коровий хвост, отвела его в сторону. Она сегодня работала за дочку. Как уехала Алевтина с Илюшей в город, так и пришлось заведующей ставить на освободившуюся группу коров свою Нинку. Может, за это сердилась Попова на Алевтину.

— Мы ведь с осени перейдем на двухсменку, электричеством станем доить. Белы ручки не устанут,— продолжала она язвить.

— Да хватит тебе,— заступилась за Алевтину Нюрка и подумала: «Зачем уж так-то она?»

— А чего хватит? — возразила Мария, но Пеструха у нее в это время нагорбилась, и по настилу гулко зашлепало. — Зараза, опять блины печет,— Мария отодвинулась вместе со скамеечкой от хвоста.

Нюрка из-за коровы не видела лица Алевтины. Она видела только зажатый в ногах подоюник да растерянные руки под выменем. Пальцы неуверенно отжимали соски, и белая струйка все время рвалась. «Да уж не ревет ли?» — испугалась Нюрка и позвала тихо:

— Аля!

Алевтина не отозвалась, но струйка забилась туже.

В дверном проеме появился Коля Задумкин. «Ты чего рано пришел?!» — хотела крикнуть ему Нюрка и зарделась: Коля шел по двору и смотрел на нее. Нюрка отвернулась и не слышала, когда он остановился.

— Нюр, а у тебя сегодня помощница,— сказал Коля и поздоровался. Алевтина встала с подоюником и, сияя, подала Коле руку. Нюрка почему-то вспомнила сразу, как она держалась за его шею, когда он переносил ее через ратники.

— С приездом вас,— сказал Коля.

И Нюрка заторопилась:

— Аль, помоги флягу вынести.

Коля вежливо отстранил ее, взвалил на плечо флягу и пошел к выходу. Алевтина прищурилась:

— Ой, Нюрка, а ты ведь ревнивая,— и, заметив смущение подруги, затараторила: — Не буду, не буду, ладно.

Она села на скамеечку и, потупившись, сидела так, пока не стали выпускать коров со двора.

* * *

Нюрка не слышала, когда Петиха пробралась на повесть. В повлажневшей темноте густо пахло росой. Корова чесалась внизу о ясли. Они вздрагивали и скрипели. И Нюрка подумала, что забыла, наверно, вечером завести будильник. Бабы, пожалуй, уж затопили печи и подоили коров.

Нюрка хотела встать, но вставать было неловко. Алевтина с Петихой разговаривали на приступке.

— Ты от матери не скрывай,— уговаривала Петиха.— Матерь худого не посоветует.

— Мама, да хватит тебе,— просила Алька.— В чужих-то людях дай спокойно поспать.

— Матерь худого не посоветует,— настаивала Петиха.— Денька два поживи у нее — и ладно.

— Мне и здесь хорошо.

— Ты людей постыдишь. Чего люди-то скажут? За весь отпуск к свекровке не заглянула. Через два дома свекровка-то — не переломятся ноги, чай.

— Хоть через три — не пойду.

— Срам-то, срам-то какой...

— А я свой срам вместо хлеба съела.

Петиха заревела. Всклипывая, поднялась с приступка и, натыкаясь руками на стены, зашаркала к выходу.

— С матерью-то толком не поговорит, ничего не расскажет... Не чужая ведь я тебе, матерь ведь...

Петиха спустилась по лестнице, глухо прикрыла дверь. Ее шаги прощуршали вокруг избы и удалились в гору. По росе было долго слышно, как она шла и всхлипывала.

Алевтина таилась в тихом углу. И Нюрке казалось, что подруга, как и на ферме, сидит на приступке не шевелясь. Не настыла бы...

Ночь-то какая мокрая. Одеяло наволгло. Волосы стали тяжелыми. А щели в крыше все еще не просвечивают.

Под Алевтиной пропел протяжно приступок. Зашуршало сено в ногах. Она осторожно легла на кровать.

Нюрка закрыла глаза. И едва удержала вздох. Что теперь делать-то? Хоть бы успокоилась Алевтина. Да и бабы на ферме... И чего уж девку травить? И так места нигде не находят...

Нюрка лежала и думала, что вот городская-то жизнь не каждому, видно, в пользу. Рвутся, рвутся на города, а душа-то болит по дому. Одни возвращаются, а другие едут. Конечно, съездить не плохо бы... На людей посмотреть, пройтись в нарядном платье по городу...

Нюрка совсем запуталась в своих рассуждениях. «Ой, да город-то тут при чем?» — и уснула.

...Будильник надрывался от звона, а Нюрка счастливо улыбалась во сне, и виделось ей, что она едет в трамвае. Улочка тихая, вся в березках, и дома деревянные. Нюрка вглядывалась в них, и ей почему-то казалось, что она здесь бывала много раз. Трамвай звенел, останавливаясь у каждого дома. Нюрка, не выдержав этого звона, выскочила на мокрый асфальт. У ворот знакомого дома — господи, да это ж Вторунка! — стоял Коля Задумкин и громко смеялся: «Вот видишь, и в городе встретились», — сказал он. «Какой же город?» — хотела она возразить, но Коли не стало, ей подавал руку кировский старшина. Рядом с ним стояла в платье с глубоким вырезом Алевтина

и шептала Нюрке: «Карточку подарит сейчас. Не теряйся, Нюрка! Пора!»

Алевтина тормошила ее за плечо:

— Ну и спать я здорова...— потягиваясь, проговорила Нюрка.— Как убитая. С вечера завалюсь — и трактором не подымешь.

— Нюрка! Пора! Проспала коров!

Она хохотала. Но под глазами у нее чернели глубокие впадины.

Она давала понять, что не слышала разговора с Петихой.

Алевтина, кажется, на это внимания не обратила.

— Да Коля Задумкин тебя и без трактора поднимет,— сказала она, лукаво сощурившись.

Нюрка отвернулась смущенно. Расчесала гребенкой волосы и, дождавшись, когда отхлынет жар от лица, взглянула на Алевтину. Та, нежась, вытянула руки за голову и зевнула. Нюрка вспомнила о приходе Петихи, снова пожалела ее.

— Я рано встаю,— вздохнула она.— Не даю тебе и поспать.

Алевтина, догадываясь о намеке, отрезала:

— Мешала бы, так дома спала... Или у свекрови...

Нюрка покраснела под ее пристальным взглядом.

* * *

На подкормку косили овсы. Подрезанные, они долго хранили в стерне прохладную влагу и, когда на них наступали, брызгались из-под ног молоком.

Алевтина вела покос первой. Ноги у нее клейко вызеленились, и Нюрка, когда отставала, не могла даже разглядеть их среди овса.

— Да потише ты, заморила совсем,— просила она Алевтину.

Но та не слышала ничего, кроме косы. Казалось, она сливалась хрупким телом с косовищем и через него вбирала в себя дрожь падающих хлебов, чувствовала и густоту посева, и неровность пашни, и направление ветра, который, когда к нему принаравливаешься, помогает косить.

Запах вянущих овсов густел и струился над зеленеющими валками.

В горячем воздухе звенели оводы. Они кружились вокруг доярок, садились им на потные спины, льнули к рукам, присасывались к голым икрам. Искусанные ноги у девок были в кровавых ссадинах. И только лошадь, впряженная в телегу, спокойно похрумкивала овсом.

— Уж не заговоренная ли она у тебя?— удивилась Алевтина, обтирая рукавом потное лицо.

— Да я ее дегтем мажу. Лучше всякого заговора.

— Ох, намазала бы меня,— Алевтина бросила косу, расправила занемешную спину, прислушиваясь, как в ней что-то похрустывает.— Выкупаться бы сейчас...

— А давай,— согласилась Нюрка. Она смотрела на повеселевшую Алевтину, и ей хотелось подольше сохранить такое ее настроение.

Алевтина, неуклюже вскидывая ноги, побежала по колкой стерне. Нюрка, не выпрягая лошади, привязала ее за узду к оглобле и бросилась догонять подругу.

Вода в Комье светлая. Сквозь нее было видно, как тупоносые пескари жались к ногам, но стоило только сделать навстречу им почти незаметное движение, как из-под плавников у них тотчас же взвихривались песчинки, и у белых Нюркиных ног никого не оставалось.

Алевтина плескалась на отмели. Она подпрыгивала, брызгалась, и брызги горели на солнце. Потом заходила поглубже. Взвизгивая, падала в воду, и волны долго и беспокойно плюхались о противоположный обрывистый берег, смывая с темных, как головешки, корней березы, поникшей над омутом, жухлые листья.

— Девки!— позвал с обрыва мужской прокуренный голос, и Нюрка увидела, что у березы стоит, посмеиваясь, Коля Задумкин. Она присела, обхватившись руками, и закричала испуганно и сердито:

— Ты чего приперся? Не видал, как купаются?

Коля воткнул в березу топор.

— Жерди пошел вырубать, да решил к вам заглянуть.

Он был доволен переполохом, который вызвало его появление, и, словно дразня Нюрку, сел на зеленеющий дерн, свесил ноги с обрыва.

— Коленька, ты что-то сказать хочешь?— игриво спросила его Алевтина. Она, повернувшись к берегу, где стоял Николай, убирала с лица намокшие волосы. Всякий раз, как Алевтина поднимала руки, над водой вздымались не только плечи, но и четко обозначившаяся на груди ложбинка. Нюрка задыхалась от ужаса: «Да ведь видно все!» Она хотела крикнуть: «Ты чего перед ним выголяешься?»— но язык у нее задеревенел.

Коля смущенно поигрывал на берегу топорищем, отводя глаза в сторону.

— Вот что, девки,— сказал он, вставая.— Вы подкормку скорей везите. Мария Попова ругается.

— А чего ей не терпится?— Алевтина перевернулась на спину и поплыла. Коля, отступая от берега, оправдывался:

— Да коров-то пришлось во двор загнать. Овод сегодня большой.

Алевтина, колошматя руками воду, смеялась:

— Ну какой ты мужик? Даже оводу испугался...

Брызги радугой стояли над ней.

Нюрка прислушалась, как Коля, путаясь сапогами в траве, выходил на тропу, дождалась, когда затихли его шаги, и, воровато оглядываясь и пригибаясь, побежала к кустам, где лежала одежда.

Алевтина громко захохотала. Нюрка, вздрагивая на ветру, укорила ее:

— Бессовестная. Перед чужим мужиком выголяешься.

Алевтина резко оборвала смех.

— А мне, миленькая, терять уже нечего... Я замужняя. Вот ты стыдись.

Она вылезла из воды, молча оделась и направилась в поле, где стояла лошадь, которую не трогали оводы.

Над валками овса густел житный запах.

Алевтина взяла из телеги вилы и, выйдя на край покоса, пошла ими вдоль рядка. Кошенина застревала в стерне, не держалась на вилах, и Алевтина, сердясь на свою неловкость, всем телом давила на черенок. Металлические рога глубоко уходили в землю, к ним прилипала глина.

— Да будет злиться-то, — сказала Нюрка. — Что, не правду разве сказала?

Алевтина, собрав вилами ношу потяжелее себя, уперлась о землю чернем и подлезла под груз спиной.

— С ума сошла! — испуганно закричала Нюрка. — Надорвешься ведь...

Она подбежала к Алевтине и, пристроившись, помогла забросить овес в телегу.

— Очумела, — сказала она и стряхнула с головы запутавшиеся в волосах травинки.

— Ты сама очумелая, — ответила Алевтина. — Ну сколько еще годов будет за нос тебя водить? Пришел, ножки с бережка свесил. И любо ему, что зарделась вся, как осинка дрожишь. Вот, мол, до чего голову ей задурил: просижу на берегу целый день — при мне из воды не вылезет.

— Нет, буду, как ты, голая перед ним подпрыгивать.

— Тьфу ты, — обиделась Алевтина. — Есть же дуры на белом свете, да не все вместе собраны... Ну чего ты перед ним млеешь? Боишься, что разонравиться? Да ведь любил бы, так давно уж повсатался... Сколь годов тянет...

Нюрка до крови закусила губу, ничего не сказала в ответ. Обидно слушать такие слова, но и возразить нечем на них.

Он вот стучит сейчас за рекой топором. Будто кукушка кукует. Хоть бросай вилы в сторону да, разинув рот, начинай гадать, чего выстучит: возьмет замуж — не возьмет, возьмет замуж — не возьмет...

Уж не только в своей деревне, а и вторунские девки, и патракеевские — все, наверно, задумывались, отчего твнет Коля волынку...

Воз накидали молча. Нюрка забралась наверх и, натянув вожжи, стала править к дороге. Нагруженная телега ощущала колесами каждую неровность загона, каждую вмятину и оттого расшатанно ходила из стороны в сторону, как деревянная веялка.

Алевтина выскочила на тропку и побежала к лаве.

— Я на ферме тебя дождю.— Желтый заграничный платок с изображением пальм затрепыхался на ней.

Тропка спускалась по бритой луговине к реке и, выскочив на другом берегу на угор, исчезла в чащобе ельника, где вырубал жерди Коля Задумкин.

Нюрка посмотрела вслед Алевтине, и у нее от кольнувшего подозрения вспотели ладони. Она нетерпеливо заподхлестывала лошадь вожжами. Телегу затрясло, как на кочках.

Алевтинин платок мелькнул несколько раз за кустами, около лавы, потом Нюрка увидела, как Алевтина легко вскарабкалась в гору, и сразу же ее заслонил ельник.

Нюрка раскрутила над головой спаренный конец вожжей, опустила его на пыльный круп лошади. Но удар получился слабым: натянутые постромки приняли его на себя. И все же лошадь прибавила шагу.

Дорога сбежала к реке, проговорила под колесами настилом моста и наезженной колеей свернула на обрывистый берег, где долго виляла среди кустарника, забирая от Комьи вправо, к пологой вершине ратника.

Тонкостволовые березки наклонялись к возу, поджимая его с обеих сторон. По их расшептавшимся на ветру макушкам стлался отчетливый стук топора: Коля вырубал жерди где-то сразу за ратником.

Нюрка, успокаиваясь, остановила лошадь и, соскользнув с воза, взяла ее под уздцы. Начинался спуск к ратнику. Спуск сам по себе не страшный, отлогий, но там, внизу, ручьевина расползлась по дороге, и, если лошадь, испугавшись воды, свернет всего на полметра в сторону, колесо обязательно соскочит с вымощенного камнем проезда в ил и по трубицу утонет в болотине. Одной тогда ничего не сделать. Приходилось притормаживать спуск, и потому телега давила на лошадь, передком была ее по ногам. Кобыла хрипела, косилась на Нюрку испуганными глазами, но сдерживала напирющий воз, боялась своей тяжелой поклажи.

Перед лужей, когда уклон кончился, Нюрка остановила лошадь, благодарно погладила ее по шелковистой губе и прикинула по четко обозначившейся при выходе из воды колее, где безопасней проезд.

— Ну, милая! — Нюрка взялась за ременный повод, но замерла на месте. Ей показалось, что там, в чащобе ельника, хохотнула Алька. По крайней мере, топор у Коли молчал...

Нюрка долго вслушивалась в тишину. Опять послышалось, будто Алевтина возбужденно смеется и чего-то говорит в ответ Коля. Но ветер заносит в ложбину только прерывистое «бу-бу-бу»...

Нюрка рванула на себя лошадь и, сама не сознавая, зачем она это делает, круто повернула от колеи в сторону. Переднее колесо жирно чавкнуло. Лошадь дернулась и, как привязанная за хвост, заперебира-ла ногами на месте. Натруженно заскрипели гужи. Лошадь метнулась влево и, угрожающе потрескивая оглоблями, вывернула колесо из ила, ткнулась резким рывком вперед, но тогда съехало в болотину заднее колесо, и телега застряла намертво, завалившись на правый бок. Кобыла испуганно шарахнулась к берегу, передок соскочил со шкворня, и телега зеленым островом осталась посреди мутной лужи.

Нюрка привязала взопревшую лошадь к березе и побежала в гору. Наверху она прислушалась к молчаливому лесу, ничего не услышала и, не зная, куда бежать, чуть не разревелась. Она покрутилась на месте и, боясь, что ее могут увидеть такой, нырнула в чащобу ельника. Продираясь сквозь колючие лапы, она торопилась к тропке, соединявшей ферму с деревней. Уж если Алевтины нет и на ферме...

Нюрка выскочила на солнечную поляну и испуганно подалась назад.

Коля сидел на пне, а напротив, прижавшись к березе, стояла Алька. Она прислонялась к дереву не спиной, а руками, заложенными назад, и отталкивалась от него, а береза будто магнитом тянула ее к себе.

«Ишь, разыгралась», — зло подумала Нюрка. Она не знала, то ли выбежать ей из ельника, то ли, зарывшись лицом в мягкий мох, нарветься досыта, нажаловаться земле на свою нескладную жизнь, но, не успев ничего решить, услышала ласковый укор Алевтины:

— Эх, ты, теленочек...

Коля растерянно улыбался.

— Бабы ведь не кусаются, — говорила ему Алевтина. — Бабы послаще девок.

Она неестественно засмеялась.

Коля поднялся с пня и, видя, как Алька, оттолкнувшись от дерева, сделала к нему шаг, громко выматюгался. Алька удивленно остановилась.

— Это что ж так неласково? — спросила она, одергивая платье.

Коля, краснея, нагнулся за топором.

— А-а, иди ты к... Илюше! — и стал неуверенно обтесывать жердины, чтобы они быстрее просохли.

Алевтина громко захохотала. И непонятно было, над собой ли она смеялась, над оробевшим ли Колей Задумкиным...

Пропахший лесом и зноем ветер обжал на ней платье, выпукло обозначив и грудь, и ноги. Алевтина, не оборачиваясь, пошла к тропинке. Ветер играл ее платьем, путался под ногами. Она, вытянув руки по бедрам, прижимала платье, уходила быстро, а за ней, выпрямляясь, долго качались в траве ромашки.

Нюрка хотела дожидаться, когда Алевтина пересечет поляну, но, вспомнив о ратнике, отступила через чащобу назад и, не давая себе отдышаться, вырвалась к ложбине, где была привязана лошадь, и закричала призывно, побежала по лесу, ломая сучья, треща валежником:

— Помогите-е-е!

Она выскочила на поляну намеренно левее того места, где работал Коля, и, нарочно не оглядываясь, побежала к ферме.

— По-мо-о-ги-те-е!

Алевтинин платок еще не скрылся в кустах, маячил вдали, как подсолнух.

Нюрка слышала, что Коля бросил работу, догоняет ее.

— По-мо-о-гит-е-е!

Алевтина обернулась на крик и, увидев, что Нюрка зазывающе машет руками, побежала назад.

А за спиной у Нюрки уже тяжело дышал Коля:

— Ты чего разоралась?

Он стоял перед ней и, ловя ртом горячий воздух, дожидался ответа.

— Телега в ратнике... Вязнет...

Коля облегченно вздохнул:

— Думал, режут тебя...

Он с трудом вынул из наводопевшего пня топор и, не дожидаясь Альки, вломился в густую стену мелкорослого ельника.

Нюрка постояла, пока Алевтина не поравнялась с ней, и насмешливо стрельнула глазами:

— Что-то медленно ты идешь?

Алевтина, не понимая намека, охнула:

— Да на тебе лица нет. Что случилось?

И, смягчаясь от ее испуга, Нюрка сказала тихо:

— Засадила телегу в ратнике.

Она хотела снова спросить: «Что-то медленно ты идешь?», но Алевтина скользнула вперед и, пока не добежали до ратника, не давала себя догнать.

Коля вырубил на угоре жердь.

— Важить будем. Может, получится.

Он спустился вниз и, не снимая резиновых сапог, обошел с трех сторон телегу.

— И как тебя угораздило... задним-то колесом?

— Не знаю.

— Уж передним — тогда понятно бы...

— Да, передним — понятно бы, — повторила Нюрка.

Коля сходил за лошадь, развернул ее у воды и, не выпрягая из передка, заставил спятиться к телеге. Потом, подсунув жердь под осевший перед телеги, позвал девок на помощь. Втроем они приподняли воз, и Коля, подсев под жердь плечом, натянул вожжи, осаживая лошадь.

— Нюрк, наставляй шкворень!

Они поставили телегу на передок, но оставалось сделать не менее сложное — высвободить из ила заднее колесо. Заважив его, они приподняли жердь. Воз был тяжел. Нюрка почувствовала плечом, как напряглось Колино тело.

— А ну, взяли! — хрипел он. — Алька, понукай!

Алевтина рванула лошадь за недоуздок.

— Раз-два, взяли! — хрипел Коля. И болотина, чавкнув, выпустила грязное, до черноты, колесо. Лошадь легко выкатила воз на берег.

— Ух ты... — облегченно проговорил Коля и закурил. — Ну, поезжайте.

Он постоял у воды, жадно затягиваясь дымом, бросил сигарку и сквозь кусты стал продираться к поляне, где его дожидалась работа.

— А не Коля, так что бы делала? — спросила Алевтина. На ногах у нее мазутными пятнами чернел ил.

— Ноги-то не отмыва, — сказала Нюрка.

Алевтина выругалась:

— Вот зараза! Да мыла ведь. Наверно, с телеги набрызгало. — Она хотела спуститься к ручью, но передумала. — Все равно в грязи будешь, на ферме не чище.

Нюрку резанули эти слова.

— Шла бы тогда домой. Без тебя управлюсь.

Алевтина, не вслушиваясь в Нюркино раздражение, вздохнула.

— Мучений-то сколько через эти ратники принимаете, — сказала она соболезнующе.

— Ну, ты уж теперь отмучилась, — ответила Нюрка. Алевтина недоверчиво посмотрела в ее глаза — завидует или смеется? — и сказала с вызовом:

— Да, я отмучилась!

«Господи, — подумала Нюрка. — Да какие тут муки? Сама так хотела... А на ратники можно чего угодно свалить...»

Алевтина, стыдясь своей резкости, заторопилась сгладить ее:

— Ой, как вспомню ту водополицу, когда Коля на закрошках таскал нас, так по коже мороз...

— А ты не вспоминай лучше,— усмехнулась Нюрка и сердито подумала: «Чего уж оправдываться? Не оправдаться ведь все равно. Вышла замуж — живи. А то заладила: «ратники», «ратники»...»

— Что-то ты сегодня не в духе,— заметила Алевтина.

— А мне не с чего в духе быть!

Нюрка представила, как, засадив в болотине воз, ломилась через кусты к поляне. «Позор-то какой, стыдобушка — следить, как за мужем». И чуть не вздохнула вслух: «Ой, Алька, ратники-то можно и обойти. А как себя обойдешь?»

По правую сторону дороги раздался стук топора — Коля вырубал жерди. Осенью он собирался обнести приусадебный участок новой изгородью и теперь использовал всякую свободную минуту.

* * *

Нюрка вытащила из комода все свои платья и, разбросав их по кровати, не знала, с какого начать примерку.

«Пожалуй, вот с этого, с голубого». В нем она ездила в район, на совещание животноводов. Смешно и радостно вспоминать сейчас, как они с Колей убежали тогда в кино. В черном костюме, при галстукe, он был очень похож на городского.

— К тебе сегодня и подходить боязно,— призналась она.

Коля улыбнулся в ответ и, чтобы уж совсем не отличаться от городского, купил мороженое для себя и для Нюрки.

В полутемном зале они сидели на последнем ряду и почти не следили за тем, что происходило на экране.

— Я в кинотеатре никогда не бывала,— шепнула Нюрка. Она хотела добавить: «с парнем», но вовремя удержалась.

— А я в армии насмотрелся... Зал, пожалуй, поболье этого...

— Ну, в армии — это не то. Там одни солдаты...

— Конечно, не то,— согласился Коля.

На них заглядывались, и они, замолчав, не решились продолжить свой разговор.

Сеанс кончился. Нюрка с Колей вышли из прохладной темноты на душную улицу и, не сговариваясь, захотели:

— Ты хоть знаешь ли, что за кино смотрели?

Они побежали к афише и, давась смехом, прочитали название фильма.

А потом Коля купил билеты на следующий сеанс, и они опять сидели на заднем ряду и ели мороженое.

Колхозная машина ушла из района без них. Председатель всю дорогу ругался вслух и высказывал догадки: «Наверно, с молоковозом уехали. Ну, я им покажу, как не сказываться».

Нюрка с Колей до рассвета брели по намокшей от росы пыли. И говорили-то вроде о ерунде всякой, а не заметили, как двадцать километров остались позади.

...Нюрка натянула на себя голубое платье и, гордясь тем, что на ней, чего ни наденет,— все в обтяжечку, радостно засмеялась. Она долго не снимала платье, смотрелась в зеркало, словно сравнивала себя с кем-то.

* * *

Вечером Алевтина заявила к Нюрке. Пришла, будто и не было ничего на поляне, будто и не трясла подолом перед Задумкиным, пришла как подруга к подруге.

«Ни стыда, ни совести»,— подумала Нюрка устало. Но обида, которая жгла ее целый день, перегорела.

— Уезжать мне пора,— сказала ей Алевтина.— Наверно, завтра уеду.

Она оделась по-непривычному просто, и Нюрка даже не сразу заметила: а ведь Алевтина-то в белых носочках, в тех, что дарила ей в день приезда. Видеть в них Альку было смешно.

— Ты чего как Окуля вырядилась?

Алевтина пропустила насмешку мимо ушей, призналась грустно:

— Да захотелось чего-то так походить...

Они посидели молча. В открытые настежь окна, гнусая, втягивались комары. Они забивались под потолок, где было темнее, и угрожающе соединяли свои голоса в протяжную и нудную песню. Гремя флягами, по дороге проехал молоковоз.

— Может, поплясали бы с тобой на прощание?

Нюрка удивилась этому приглашению — никто не пляшет теперь, уж и стыдно бы вроде плясать,— но отказать не решилась.

Они вышли за огороды, в полукружие кустов, где трава была гладко выкошена. Алевтина отломил от березы зеленую ветку и зажала ее в руке.

— Ох, черемуха-то давно отцвела.— Она прошлась по выбритой луговине, намечая будущий круг, взмахнула веточкой и запела:

В поле белая березонька,
Не ты ли мне сестра?
Горя не было у девушки —
Не ты ли принесла?

Алевтина отчаянно задрбила ногами, но жесткая косовица — не лужайка перед окном, туфли спотыкались о корневища трав, и дробь получалась неуверенной, вялой. Да и какая уж пляска, если не слышно ног. Но Алевтина не хотела этого замечать. Не соблюдая очереди, забыв, наверно, о ней, она выплеснула вторую частушку:

Вышью птичку на платочке —
Полетай, бескрылая.
Каково тебе без крыльев,
Так и мне без милого.

«Да в чем она признается-то? — испугалась Нюрка. — Ведь никогда не сказывала, что не любит Илюшу». Ее неожиданно охватило жаром догадки: «Ой, да как же так?». И частушка Алькина, и сегодняшний разговор на поляне, и стук Колина топора — все перепуталось в сознании. Она, не чувствуя ног, продрихла за Алевтиной и, когда остановилась для песни, боясь, что Алевтина снова ее обгонит, торопливо выбросила больные слова:

Не оставит меня милый —
Нечего заботиться.
Если он меня оставит —
Речка повернется!

Алевтина удивленно вскинула брови, будто просыпаясь от навязчивых дум, и, поняв, о чем спела Нюрка, взмахнула веточкой, но дробить не пошла, осталась на месте. Нюрка двинулась было по кругу, но, заметив, что подруга вросла в траву, настороженно притихла, дожидаясь, чем она ей ответит.

Не найти такой березы,
Чтобы дождь не проливал.
Не найти такого дроли,
Чтобы век не забывал.

Алевтина завышагивала по кругу спокойно и гордо, не собираясь приплясывать.

Нюрка неуверенно пропела вдогонку:

Задушевная подруга,
Не ходи по выгону.
Не люби ребят подряд,
А люби по выбору.

Алевтина нетерпеливо рванулась вперед, приминая ногами зачерствевший обрез травы, и с вызовом ответила на Нюркину просьбу:

Прожила бы в его доме,
Поносила бы воды.
Привела судьба несчастная —
Ношу, да не туды.

«Ох ты зараза!» — ужаснулась Нюрка. И, наливаясь решимостью, вспомнив сразу и про Илюшу, и про вешние ратники, перед которыми Алевтина не выстояла, и про то, как Мария Попова изводила горожанку на ферме, мстительно выкрикнула:

Дайте паспорт, я уеду,
Милые родители.
Я не буду дома жить —
Нашла д у р н я в Питере.

Алевтина выронила из рук ветку, нагнулась за ней, чтобы спрятать растерянность, долго шарила рукой по земле и приседала все ниже и ниже, пока не накрыла платьем уже успевшие зазелениться носки.

— Ой, мамушка! — вскрикнула Алевтина горько и, поджимая под себя ноги, повалилась в траву.

Нюрка стояла молча, давая подруге выревветься. Ей было стыдно за свою ненужную злость. Ведь прогнал же Коля ее, прогнал. Хоть и гордо уходила потом, а прогнал, — так зачем было злиться-то? Она присела к согнувшейся Алевтине. У земли вились комары, Нюрка хлопала себя по голым ногам и не знала, чего сказать.

Алевтина подняла от земли сухое, без слез, лицо с полосками мятин от жесткой травы.

— Ну и наплясалась теперь. Пойдем, — сказала она ледяным голосом, отряхнула платье и, не оглядываясь, идет ли следом за нею Нюрка, двинулась к огородам.

— Ой, и дура я, ну и дура, — разговаривала Алевтина с собою вслух. — Подразнить захотела. А себя ведь дразнила-то...

Нюрка прислушивалась к этим бессвязным словам, не разбираясь в них, но все же смутно догадываясь, что чего-то она понимает не так.

Алевтина неожиданно обернулась:

— Да успокойся ты, любит Коля тебя. Я проверила.

У Нюрки защемило в груди, и она спросила, сочувствуя:

— Худо, Аля, с Ильей-то живешь?

— А какое дело тебе? — в сердцах бросила та. — За Колю трясешься? Да не нужен он мне. Я таких Коля...

Она выкрикивала злые слова, готовая разревветься. И только выговорившись, попросила тихо:

— Ты не думай худого. Я ведь, вправду, проверяла его... Любит, любит тебя... Ну, иди, — она подтолкнула Нюрку к крыльцу и пошла по дороге к дому.

Нюрка зябко поежилась от нависшего над деревней тумана. По ночам уже было холодно, и с неба падали звезды. А где-то на стлizzaх мокли в росе дорожки бурого льна.

* * *

До железнодорожной станции было километров семнадцать, и Петиха выпросила у бригадира лошадь. Поклажи у Алевтины немного — один чемодан, но ведь стыдно отпускать дочь с пустыми руками. С вечера Петиха накопила мешок раннеспелки-картошки — месяца два хоть по базарам не бегать, — нажарила мяса, наварила яиц.

— Ну куда мне столько? — отмахивалась Алевтина.

— Бери! — прикрикнула мать.

И Нюрка подтвердила тоже:

— Бери. Не тяжела ноша.

— Да ноша мне не страшна, — засмеялась гостья. — Илюша все равно встретит.

Она бегала по избе легко, смеялась весело, и Нюрке не верилось: уж та ли это Алевтина, с которой плясали вчера, крутит теперь перед зеркалом бедрами, не подменили ли ее за ночь.

— А ты чего пригорюнилась? — хохотнула Алька. — Жалеешь, что не успела Колю отбить?

Она подмигнула Нюрке дурашливо и крикнула громче чем надо:

— Мама! А чего свекровка не идет меня провожать?

— Да не ори, вертихвостка. Дуня под окошком сидит.

Алевтина враз присмирела.

— А чего она не зайдет?

— А ты-то к ней много захаживала?

Из избы вышли притихшие.

Илюшина мать сидела у ограды на скамеечке, из-под которой вытягивалась крапива.

— Уезжаешь, касаточка? — обиженно спросила Алевтину свекровь. Подбородок ее, похожий на куриный зоб, затрясся. Старуха подтянула ноги под скамью, где курчавилась крапива, но не почувствовала ожогов. — По чужим людям ходишь, а к свекрови и заглянуть некогда, — она блеснула мокрыми глазами и жалобно уставилась на невестку.

Алевтина пошла к тарантасу, где Петиха привязывала к дрожкам мешок.

— Взяла бы хоть полмешочка моей, — сказала Дуня. — У меня картошка-то красная. Илюша больно любил такую.

Алевтина неуверенно возразила ей:

— Да, наверно, ведь и наша рассыпчатая.

Петиха, услышав в голосе дочери неуверенность, торопливо вменялась:

— Теперь уж, сватьяшка, некогда. Поезд нас дожидаться не будет.

— Ну, хоть гостинец увези от меня Илюше, — Дуня подала завязанный на все четыре угла цветастый платок, в котором бугрился сверток.

Алевтина простилась со свекровкой за руку, чмокнула Нюрку в щеку и уселась в плетеной корзине. Петиха, взобравшись на облучок, взялась за вожжи:

— Ну, милая! — Тарантас несмазанно заскрипел.

Нюрка смотрела, как лошадь вынесла его за деревню, побежала полем к реке. Алевтина сидела, боясь оглядываться, потому что худая

примета — оглядываться, когда уезжаешь: изнается сердце по родимым местам...

Тарантас прогрохотал по настилу моста и свернул от ратников в сторону. Очень скоро Алевтина слилась с мешком в одно целое. Зачем-то некстати Нюрка вспомнила, как подруга отказывалась от картошки. А картошка ведь что — в вагоне бросишь мешок в багажник, и вези хоть на самый край света...

— Проводила гостью? — спросил Нюрку знакомый голос. Мария Попова держала под мышкой буханку хлеба. — А я вот в магазин бегала... Уехала, стало быть, Алевтина...

Она заметила сгорбившуюся над скамейкой старую Елсукову.

— А ты, Дуня, чего реवेशь?

— Да ведь как, Мариюшка, не реветь? Провожала-то не чужую.

— Ну, на будущий год опять встретишь.

— Да ведь встречать-то мне не дано. Ни одной ночки не погостила, — не вытерпела, пожаловалась старуха Марии. А и кому ей было пожаловаться, как не первому, кто посочувствовал. Родни в доме нет. Как перст, одна-одинешенькэ... — Чует сердце мое — неладно у них.

— Ну, чего там неладно? — возразила Мария.

— Да ведь не любились они совсем. За день всего округились.

— В одной деревне росли. Не с завязанными глазами бегали.

Нюрка не стала слушать, как Мария успокаивала Дуню, пошла домой.

На крыльце она неожиданно наткнулась на забытые Алевтиной туфли. Покоробившиеся, с глубокими трещинами, с выбившимися из-под черной кожи металлическими основаниями каблуков, они теперь никуда не годились. И Нюрка, жалея их, подумала про подругу: «Да разве ж не знала она, что по здешним асфальтам много в таких не находишь?..»

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Рушиловское молоко	3
Алевтино гостеванье	22

Леонид Анатольевич ФРОЛОВ

РУСИЛОВСКОЕ МОЛОКО

Редактор Д. К. Иванов

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 26.06.86. Подписано к печати 09.09.86. А 00729. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,96. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 2166. Зак. 3267. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ЛОТЕРЕЯ БЕЗ ТИРАЖЕЙ

Автомобили «Волга», «Жигули», «Запорожец» и денежные суммы до 5.000 рублей разыгрываются в спортивной денежно-вещевой лотерее «Спринт».

Результат игры вы узнаете мгновенно. Размеры денежных и наименования вещевых выигрышей указаны на запечатанных в конверты билетах.

Билеты лотереи «Спринт» выпускаются сериями по два миллиона штук в каждой.

В серии со стоимостью одного билета 50 копеек разыгрываются 400.072 выигрыша. В их числе: 8 вещевых выигрышей — по два автомобиля «Волга ГАЗ-24-10», «Жигули ВАЗ-2105», «Жигули ВАЗ-21013», «Запорожец 968-М» и 400.064 денежных выигрыша от 50 копеек до 1.000 рублей.

В серии со стоимостью одного билета 1 рубль разыгрываются 400.078 выигрышей. В их числе: 16 вещевых выигрышей — по четыре автомобиля «Волга ГАЗ-24-10», «Жигули ВАЗ-2105», «Жигули ВАЗ-21013», «Запорожец 968-М» и 400.062 денежных выигрыша от 1 до 5.000 рублей.

Доходы лотереи «Спринт» направляются на развитие физической культуры и спорта.

Общий выигрыш всех участников лотереи—новые спортивные сооружения, возможность систематически заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье.

**Главное управление спортивных лотерей
Госкомспорта СССР.**